

Наталья Гвелесиани

# Мой маленький Советский Союз



ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Что почитать?

Наталья Гвелесиани

**Мой маленький Советский Союз**

«РИПОЛ Классик»

2016

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Гвелесиани Н.**

Мой маленький Советский Союз / Н. Гвелесиани —  
«РИПОЛ Классик», 2016 — (Что почитать?)

ISBN 978-5-386-09458-4

Мой маленький Советский Союз – невероятно искренняя и светлая история о каждом из нас: тех, кто все свободное время пропадал во дворах, кто играл в салки, прятки и классики, кто собирал вкладыши и альбомы наклеек... тех, кто сохранил в себе свой маленький Советский Союз.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-386-09458-4

© Гвелесиани Н., 2016  
© РИПОЛ Классик, 2016

# Содержание

Вступление	6
Часть первая	7
Часть вторая	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37

# **Наталья Гвелесиани**

## **Мой маленький Советский Союз**

© Гвелесиани Н. А., текст, 2016

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»,  
2016

## Вступление

*Человек рождается на свет ребенком.*

*А уходит – стариком.*

*В этом есть какая-то жуткая, до слез обидная несправедливость.*

*А все, что несправедливо, то, по моему глубокому убеждению, несправедно. Неправедное же преходяще.*

*Несправедное не существует само по себе, его бытие несубстанционально.*

*Раз нам чувствуется, что в движении от детства к старости есть что-то не то, то, значит, так оно и есть. И посему может быть преодолено. Нет ничего непоправимого! И на такой случай предусмотрено Обыкновенное Чудо. Надо только захотеть все исправить, просто пожившись на это Чудо.*

*Куда уходит детство? Никуда.*

*Детство – не место и не время, а способ существования души. Это мы из него уходим.*

*Мы начинаем уходить прямо с колыбели, поскольку с ходу попадаем в мир тех, кто уже ушел.*

*Уже ушедшие, не ведая о том, что они ушли, уводят и нас.*

*Тотчас после нашего появления они с доброй улыбкой протягивают нам свои очень большие и очень важные игрушки. Они – как стена, отрезающая нас от жизни.*

*И мы поначалу отчаянно сопротивляемся: сначала кричим, потом плачем, потом хнычем, потом капризничаем, потом хулиганим... А потом – суп с котом.*

*Или пытаемся быть послушными и добросовестными, и это хуже всего. Если, конечно, нам не выпало счастье родиться в семье просветленных жителей вершин духа...*

*Наконец, мы не выдерживаем и сдаемся.*

*И вот тогда-то этот неплохо организованный для удобства стариков мир, который мы, плача и давясь, все-таки проглатываем, как подслащенную пиллюлю, хорошенько осев в мозгу, прижимает нас к земле.*

*Так появляются синица в руке и тоска по журавлю, правое и левое, доброе и злое.*

*Мы были магами, а стали – в лучшем случае – поэтами.*

*Добывая свой хлеб потом и кровью, мы ищем всю жизнь затонувшую Атлантиду, не ведая о том, что она всегда рядом.*

*В общем, как все, наверное, уже догадались, наше детство заканчивается, еще не успев начаться.*

*И это его мы потом ищем всю свою жизнь.*

## Часть первая

### 1

– Нет, шорты сегодня лучше не надевать, – говорит мать, стоя ко мне спиной, и, словно ожидая подтверждения сказанному, вытягивает руку за перила балкона и скептически всматривается в небо. – Наденешь брюки – свежо. А то будешь потом кашлять на моих нервах.

Что значит – *наденешь*? Мне, ясное дело, до лампочки, брюки на мне или шорты, но что означает этот повелительный глагол? Выудив из сетки сплюсненную, как юла, сине-красную луковицу, я отправляю ее в полет над озабоченным воробьем, который, прикорнув на нашей веревке для белья, слишком уж откровенно – подчеркнуто откровенно – чистит свои перья, навевая на мою мать не лучшие мысли о погоде. Воробей тоже отправляется в полет – над нашим двором, – а на его место приземляется сизый голубь, он важный и, топорщась, откидывает голову назад, чтобы сердито всматриваться в каждого. Ходит, беспокойно крутится, утробно урчит.

– Сейчас!

Это не я говорю. И не матери. Это – из меня какая-то трепетная сила.

Я бегу в прихожую, нащупываю впотьмах сандалии. Мать выбегает туда же, словно и ее сила перенесла из лоджии в спальню, откуда она уже несет охапкой какую-то подхваченную на бегу одежду.

– Померяй-ка вот эти. И кофту не забудь... – повторяет она, размахивая перед моим лицом широкими оранжевыми брюками и красной шерстяной кофтой в крапинку.

Я выхватываю кофту, комкаю ее и отбрасываю прочь:

– Опять тетя из Магадана прислала?

– При чем здесь Магадан? А даже если и из Магадана, то что ж в этом плохого? Ты же знаешь, тетя Света покупает в «Военторге» все самое модное.

– Скажи лучше, самое теплое!

– Модное – и теплое! Если будешь себя так вести, вообще никуда не выйдешь!

– Что-о-о?! А ну уйди с дороги!.. Ты пойми, тетя Света живет в Магадане, а я – в Тбилиси. В Тби-ли-си!..

– Что за бред! Выйди на балкон и посмотри, в чем люди ходят! Еще май месяц.

– Знаю. Лето на дворе. Это вам не Магадан.

Как ни в чем не бывало, мать поднимает кофту с пола и вновь подбирается ко мне, выставив вперед приспущенным флагом оранжевые брюки.

– А это еще что за Африка?! – кричу я возмущенно. И при этом незаметно отступаю к двери.

– Самый модный цвет в этом сезоне. Сейчас все девочки в таких ходят, – говорит мать, не моргнув. А потом небрежно добавляет поскучевшим голосом: – Хотя, если хочешь, можешь надеть свои вечные синие брюки.

– Ну, правильно – синие брюки! Что ж ты раньше про них молчала?

– Так их еще гладить надо.

– Так они же немнущиеся!

У меня нет слов – такие все непонятливые!..

Машинально просунув руки в накиннутую мне на плечи кофту, я надеваю узкие, порядком потертые синие брюки и выскакиваю на лестницу.

– Кепочку вот еще возьми! Правда, девочки у нас такие не носят...

– Кепочку?... Ну, давай.

Раз девочки такие не носят, значит, буду носить.

Этажом ниже меня змеисто струится из приоткрытой двери, осаживая на бегу, волшебный запах. Дверь на цепочке. Взявшись рукой за цепочку, я слегка пошатываю ее, приносиваясь, блаженно прикрывая глаза. Хочется петь, лепетать какие-то звуки, в голову лезет вздор. Время течет себе вдаль, будто и нет его... Но вдруг – моментальная молния. Это тетя Надя внезапно положила мне на руку свои холодные пальцы.

– Хочешь пирожок? – спрашивает она таинственным шепотом. И протягивает, не снимая цепочки, тарелку, на которой горкой пышущие ароматом изделия из теста. Ох, это смертельно для меня...

– Хочу, – говорю я хмуро и хватаю пирожок.

И, без всякого «спасибо» сбежав на два этажа вниз, проглатываю его без всякого удовольствия. Потом, немного подумав, возвращаюсь назад. Кладу руку на цепочку. Стучу в дверь:

– А можно еще пирожок?

– Бери-бери, деточка. Кушай на здоровье.

Второй пирожок я съедаю неспешно – хватаю на весь мой степенный путь вниз по лестнице; за это время я успеваю изучить последние надписи на стенах и добавить мелом свою. У меня огненный живот, потому что пирожки с густо наперченной картофельной начинкой тоже огненные. И язык у меня огненный, и мысли. И весь обхваченный этими мыслями двор – тоже огненный.

Я выхожу из подъезда прямо в огненный шар. Солнце в оранжевых брюках встало напротив, грудь у груди, и мглисто посверкивает, переливаясь, крапинками из туч.

Перебежав дорогу и детскую площадку, я взбегаю на пригорок, где рокочат в траве кузнечики и шныряют среди колючек ящерицы. Здесь я за ящерицами охочусь. Просовываю в развороченные рыхлые норы руку по локоть, прижимаю обитателей к земле, или к полу, или стене, как там у них это называется? – и ящерицам ничего не остается, как вцепиться мне мертвой хваткой челюстью в палец. А там уже я вытягиваю их из земли.

Но сейчас мне хочется петь, и ящерицам дарована свобода.

*Капитан, капитан, улыбнитесь,  
Ведь улыбка это флаг корабля,  
Капитан, капитан, подтянитесь,  
Только смелым покоряются моря!*

Большой белый корпус, восемь этажей и три подъезда, покачиваясь незримо в синем воздухе, гудит, как пароход перед отправкой из гавани.

А может, это поезд с синими окнами. И он бьется о тьму шелестящими крыльями. Поезд – это гусеница на листке ночи. Он едет и спит. Спят все его пассажиры. И только внутри его – шелест и сквожение крыльев... Сквозь него идет проводник с фонарем – наш домоуправ без портфеля дядя Саша. Никто не назначал дядю Сашу управлять домом, но он заходит в корпус тогда, когда все остальные выходят. Все идут на работу, а дядя Саша уже искупался в Тбилисском море, сделал гимнастику, собрал в кучки мусор и поправил изгородь у саженца виноградной лозы.

Потом он тоже уйдет на работу.

А на улицу выйдет задумчивый полуслепой дворник, зашуршат колеса автомобилей.

И появятся Аэлита, Афруля, Апуля и Аспуля.

Они выйдут из среднего подъезда, спустившись по двум ступенькам со своего первого этажа походкой плавной, головы высоко подняты, лица привычно напряжены. Они словно

всегда ожидают, что сейчас кто-то скажет: «А... смотрите, вон идут Аэлита, Афруля, Апуля и Аспуля». И проводит их долгим насмешливым взглядом. Правда, у самой старшей из четырех сестер, Аэлиты, лицо не столько напряженное, сколько сосредоточенное – на чем-то своем, чему она слегка улыбается в душе, – и от нее словно струится мягкое, синевато-дымчатое сияние. Колышется у нее на груди алым парусом пионерский галстук. Аэлита учится в седьмом классе и шефствует над третьеклассниками, и не только в урочное время. И наверное, поэтому она иногда повязывает галстук на обычную неформенную блузку. Идет себе по своим делам и заботам – с ясным лицом и спокойной, приветливой улыбкой. И что самое интересное – никто не говорит ей вслед: «Вон, смотрите... пошла. Да еще и с галстуком...»

Чего не скажешь о моей однокласснице Апуле.

Смотрит она исподлобья, вид имеет грозный, надменный и одета, как и положено нормальному ребенку, не лучше и не хуже других.

Но другие дети, только взглянув на нее, ядовито спрашивают:

– Апуля, а сколько вас всего? Давай посчитаем: Аэлита, Апуля, Афруля, Аспуля... А когда родится Аполлон?

Стремительно сорвавшись с места, Апуля бросается в гущу разбегающихся обидчиков и, если успевает схватить кого-нибудь за шиворот, награждает его звонкой оплеухой, а потом строго выговаривает, чеканя слова:

– Меня зовут Аппатима. А сестер – Афродита и Аспасия. Это – древнегреческие имена.

Ну, Аппатима так Аппатима. Я не против. Я так ее и называю, стараюсь спрятать усмешку, причину которой втайне разделяю со всеми остальными. Кто ж виноват, что родители у сестер – греки. И скучают по своим великим предкам.

Во дворе я голосисто распеваю, ведь звуки все равно разбегаются, растворяются, в них не вслушаться с балконов. Красная кофта на плечах – как мундир. Подобрал припрятанную, выструганную из ветки тополя палку, срубаю ею головки колючек, а иногда и цветов. А к пригорку уже идут друг за дружкой, проводив в школу Аэлиту и семилетнюю Аспасию, которые учатся, в отличие от нас, в первую смену, Аппатима и Афродита.

Проворно взбираются по склону, встают на обломок бетонной трубы, проходятся по ней раз-другой, как гимнастки на бревне, и, разом замерев, складывают руки на груди. Смотрят в упор.

Аппатима надменно произносит с издевкой в голосе:

– Тебе медведь на ухо наступил!

– Знаю, – говорю я беспечно и глупо улыбаясь. – Так у меня же ни слуха, ни голоса!.. Ну что, может, сходим за абрикосами, пока хозяева дрыхнут?

– Сходим, сходим, – кивает Аппатима, не уклоняя от моего лица цепкий взгляд, который тем больше наливаются непонятной сердитостью, чем больше я улыбаюсь. – Только сначала ты нас покатай...

Вот ведь странная просьба...

Мало того что в наших ежедневных набегах на окрестные сады и огороды я – главное действующее лицо и собиратель, так сказать, репьев и шишек на совесть и репутацию, а они только у забора подсаживают да на шухере стоят, так их еще и катай!

Но вместо того чтобы возразить, спрашиваю, продолжая сиять большущей улыбкой на немного скуластом лице:

– Это как?

– А вот так, – равнодушно говорит Аппатима и выкидывает вперед руки. – Подойди!

Без лишних слов я поворачиваюсь к ней спиной, и она падает на нее коршуном, сцепляет руки у меня груди и кричит: «Ого-го!» И мы скачем, скачем вокруг трубы, на которой так и стоит вечно молчащая, уныло-спокойная, не в меру упитанная Афродита.

Стоит и следит за нами немигающим взглядом, а Аппатима кричит с мгновенно проснувшимся горячечным азартом:

– Ого-го! Ого-го! Битый небитого везет, битый небитого везет!

Потом, устав, мы сваливаемся в заросли колючей травы и, тяжело дыша, нервно хохочем.

Мы сидим на голой земле на некотором расстоянии друг от друга, и Аппатима удовлетворенно-примирительно посматривает на меня то с любопытством, то с мерцающим в глубине черных глаз лукавым огоньком.

Потом, отдышавшись, вдруг произносит:

– Слушай, а почему ты такая?...

И, не договорив, задумчиво смотрит вдаль, упершись в землю кулаками. Похоже, она и сама забыла, что хотела спросить. Словно ангел над нами пролетел и, сорвав ее слово, как репей, скучно отбросил в сторону.

Пауза тянется и тянется. И звенит, наполняясь стрекотом все больше входящих в раж кузнечиков.

– Какая?... – спрашиваю я нерешительно.

– Ну... Как тебе сказать... Похожая на Волка из «Ну, погоди». Заяц столько раз обводил его вокруг пальца, а он все такой же. Сними, кстати, эту дурацкую кепку – не идет она тебе.

Машинально сорвав кепку, я резко встаю и делаю шаг, сама не зная куда, но, словно наткнувшись на преграду, останавливаюсь. По-прежнему улыбаясь сквозь прорезавшуюся изнутри боль, примирительно говорю:

– А теперь уже можно... за абрикосами?

– Ну, кому что. Кому – покататься, а кому – пожрать. Ладно, пошли. Но только не за абрикосами, а за игрушками. Есть тут одно местечко...

– За игрушками? А это где такое?

– Да в детском саду, который рядом с нашей школой. Там сейчас ремонт и никого нету, даже строителей. А в одной комнате окно разбилось. Можно туда пробраться и взять мяч или скакалку – их там все равно много, никто и не узнает.

Я изумленно всматриваюсь в замкнуто-беспокойное лицо Аппатимы, по которому словно молнии пробегают, рождающиеся от ее лихорадочного взгляда, и пытаюсь найти в нем обычное лукавство, но сейчас оно серьезно, как никогда.

Однажды мы уже взяли, надеясь, что никто не узнает, мороженое из стоящего в проходе магазина специального холодильника и вышли, не заплатив продавщице, пока та занималась кем-то. Во дворе мы сняли этикетки с вафельных стаканчиков и побежали, весело смеясь, точно в руках у нас было небывалое сокровище. Правду сказать, мы проделывали такое с подачи Аппатимы не раз. Но однажды, когда Аппатима с Афродитой стояли на улице, попросив меня, чтобы не привлекать внимания, стырить стаканчики без их участия, кто-то крепко схватил меня за запястье, и я, обмерев, похолодела не меньше, чем мороженое, когда увидела яростное лицо продавщицы.

– Девочка, а деньги?

– Сейчас... Я хотела дать, просто забыла. Я думала...

– Если ты забыла, то где деньги?

– Я... Сейчас...

– Да нету у тебя денег! Ах ты, малолетняя бандитка! Люди добрые, вы видите, что творится?!

Стремительно набежала толпа – краска волной ударила мне в голову, залила темным ужасом уши. Ничего не слыша, ничего не понимая, я ощущала только лихорадочный, жалобный стук сердца, превратившегося в льдинку, его треск и визг, какой бывает у резко затормозившей машины. Кто-то крикнул: «Да вызвать милицию надо!» И этот крик все-таки проник

в мое тонущее сознания, потому что он был очень громкий. Но тут все загалдели с новой силой, и уши совсем закупорились. Нет, не совсем: я поняла, что люди спорят. А потом та рука, что крепко стискивала мое запястье, разжалась, и мой локоть оказался в другой руке. Хозяин этой руки – усатый дядька с усталыми, хитроватыми глазами – вывел меня за порог и сказал, толкнув в спину: «Давай беги отсюда. И чтоб больше не приходила сюда!»

И я пошла нетвердой походкой. Бежать я не могла, так как не чувствовала ног – они дрожали и подгибались.

А по лицу моему катились слезы.

Аппатима и Афродита, появившись из ниоткуда, молча шли следом, как понурые собаки.

Потом Аппатима сказала, когда ноги принесли нас к родному двору: «Ну все, больше никогда!.. Ты это... извини. Слышишь?»

Она была бледна, и лицо ее дрожало. Я никогда не видела ее такой... доброжелательной, что ли? И потому промолчала, сдержав шумное ругательство.

– Ну, нет уж, хватит! – сказала я, сердито водрузив кепку обратно на голову. – Лучше в мяч пока поиграем. Ну их на фиг, абрикосы и все такое.

– А Афро вчера потеряла наш мяч. Забыла во дворе – и нет больше мячика.

– Я свой принесу – у меня их пять штук. Я мигом!

– Да стой ты! Не обязательно же в том детском саду что-то брать. Мы просто сходим посмотреть. Просто проверим, какие там у них ходы-коридоры-сокровища. Как разведчики.

Как разведчики? Это уже интересно. И меняет дело. Воображение, задетое волшебным словом «разведчики», вспыхивает яркими красками, душа взмывает из пяток ввысь, готовая растечься какой-то смутной мыслью по дереву.

– Ладно, – говорю я с деланным безразличием. – Только по-быстроу давайте.

– А ты меня на спине еще прокати – все будут думать, что это мчится кентавр.

...Но когда шумно пыхтящий кентавр с плетущейся рядом молчаливой Афродитой перемахнул через разбитое окно и приземлился в царстве игрушек, лежащих вповалку на грязном, со следами побелки полу детского садика, душа его уже не знала удержу и струилась по темным коридорам, ныряя в незапертые комнаты.

Наш разум затопила стихия. Мы заходили в кабинеты, сидели за большим канцелярским столом, щелкали костяшками счетов, перебирали ручки и карандаши, переворачивали чернильницы, рисовали рожицы на бланках, поднимали трубку телефона и говорили: «Алё!»

А когда кентавр с шумом и смехом вылетел, как из дыры, к стоящей на лужайке Афродите, в руках у него оказался большой полосатый мяч.

– Трофей, – многозначительно сказала державшая его Аппатима и посмотрела мне в глаза долгим, отсеивающим сомнения взглядом.

## 2

Блеснула молния. Большие рваные капли легли на асфальт детской площадки, подмочили кусок мела, которым чертили квадраты для игры в классики и рисовали смешное и страшное. Зашумели, раскачиваясь от порывов внезапно налетевшего ветра, тополя, что росли стройной рощицей за бордюром поля с баскетбольными щитами, нижняя часть которых служила нам футбольными воротами. И появилась собака. То ли гонимая надвигающейся непогодой, то ли сошедшая с тех самых небес, где ничто под луной не ново. Она двигалась бесшумно, как пантера, и смотрела внутрь себя, как смотрят обычно коты, а не собаки.

– Сильвия! – крикнула я, ударив ногой по мячу.

Он пружинисто полетел, подскочив несколько раз, к калитке, через которую собака намеревалась войти, прокатился по земле и замер у ее лап.

Сбавив шаг, гостя, кажется, слегка призадумалась, стоит ли быть такой неразборчивой в выборе пути, но гнет какой-то иной мысли, иных воспоминаний был так тяжел, что она, тут же позабыв о мяче, чуть не сбившем ее, проследовала в угол площадки и залегла там, грустно положив морду на лапы, как воплощение вселенской скорби.

Мы никогда еще не видели настолько грустной собаки.

И не могли понять секрета этой грусти.

Казалось, грусть эта стирала погожий день, и он меркнул, не имея сил сопротивляться.

И мы, все трое, и мир вокруг нас – наш дом, наш двор, овраг, лес, море, школа, другие дома, примыкающие к нашему двору, – тоже не могли сопротивляться, сползая в общем потоке в приоткрывшуюся бездну.

Так показалось мне на миг.

Но обычные дети не обладают долгой памятью, они живут здесь и сейчас, они отражатели и раздражители и каждую минуту меняются. Поэтому грусть собаки, объяв меня на мгновение, пронзив до самой сердцевины души, почти сразу же вновь встала внешней, собачьей, а своя кожа – опять самой ближней. И распахнувшаяся так внезапно бездна боли и печали затянулась, будто бы ее и не было никогда. Я лишь растерянно улыбалась, приглядываясь к исхудалым бокам собаки, дотронуться до которых было так же страшно, как коснуться рукой скелета. Ребра ее прикрывала испещренная царапинами, ссадинами и шрамами обвисшая морщинистая кожа пепельно-бурого цвета. Шерсть была черной и свалявшейся.

Но самым плохим было не это. Под хвостом у изможденной собаки скопилась лужица крови. Лужица медленно, но верно пополнялась выкатывающимися из промежности собаки блестящими, как бусины, каплями.

– Ее били, – сурово произнесла Аппатима. – И повезло же тебе, детка, с хозяевами.

Мы никогда не думали, что могут найтись такие до странности дикие люди, которые бьют животных прямо *туда*. Поэтому мы были как-то не по-детски ошеломлены этим плохо укладывающимся в сознании фактом, а иному объяснению в наших юных умах тогда еще взяться было неоткуда. Поэтому, когда вскоре на площадку ворвался отчего-то не в меру задорный в этот день песик Джерри, живший у одних наших соседей, и, виляя хвостом и лапаясь, повизгивая от непонятого восторга, в считанные секунды оказался у той самой ужасной лужицы, ткнулся в нее носом и, плюхнувшись на задние лапы, казалось, произнес на своем собачьем языке что-то нетерпеливо-сладкое, тоже по-своему удивленное, мы с невероятным возмущением отогнали его прочь.

Но Джерри, обогнув площадку, пошел на вторую попытку, словно был самолетом, которому непременно нужно было зайти на посадку, а аэродромом служила наша Сильвия. Казалось, он не слышит наших криков, не видит летящих в него камней, не замечает палок в руках. Тем более что Сильвия поднялась и, вся дрожа, покачиваясь на нетвердых лапах, сама сделала несколько шагов навстречу этому кружащемуся самолету.

Джерри был тут как тут. И со стремительностью молнии стал совершать необычные телодвижения, которые, однако, ему не вполне удавались из-за его малого роста.

Что ж... Раз наша гостя сама изъявила желание познакомиться с Джерри, мы не только не стали препятствовать нарождающейся дружбе, но и принялись изо всех сил помогать им.

Особенно старалась я.

Пританцовывая что-то типа лезгинки и утробно выкрикивая какие-то звуки, я сделала вокруг Сильвии с пристроившимся сзади глубоко озабоченным Джерриком некий магический круг, а стоявшая со сложенными на груди руками Аппатима, сверкнув глазами, пнула Джеррика под зад, вероятно надеясь тем самым ему как-то поспособствовать. Джеррик, взвизгнув, сбился с темпа. Черная собака зарычала.

А я перешла с танцующего бега на шаг и торжествующе запела:

*Капитан, капитан, улыбнитесь,  
Ведь улыбка это флаг корабля,  
Капитан, капитан, подтянитесь,  
Только смелым покоряются моря!*

Услышав мой голос, на балкон вышла мама, да и другие соседи с любопытством поглядывали в окна на развернувшееся действие, которое от минуты к минуте захватывало нас все больше. Телодвижения Джеррика стали странными до неприличия.

– Иди домой! – крикнула мама.

– Мама! – крикнула я. – Ты только посмотри, как они подружились! Какая-то собака пришла на площадку, и Джерри полюбил ее с первого взгляда!

– Иди домой! – сухо и зло повторила мама.

Подобные приказы я всегда игнорировала.

Села на корточки и положила обеим собакам руки на спины, принялась поглаживать их, чтобы успокоить. Мне казалось, что волнение, охватившее несчастных этих животных, только усилилось от наплыва в окнах недоброжелательных глаз.

Но тут из третьего подъезда вышел невысокий седовласый мужчина – хозяин Джеррика.

– Джерри! – сказал он куда-то в сторону невозмутимым тоном и, глядя прямо перед собой, зашагал за дом – там был ближайший гастроном.

Джеррик отказался на редкость послушным мальчиком. Он тут же ринулся за хозяином. Мало того, опередив его, первым свернул за угол дома.

– Предатель! – сказала я с досадой.

Но природа не терпит пустоты. И взамен новоприобретенного друга, точнее, нелепой пародии на него черная собака тут же призвала другого, на сей раз настоящего.

Из противоположного угла площадки вышел, стряхнув дрему, до того незаметно почивавший под железным столом наш дворовой пес Мурзик.

Когда я через пару лет увидела Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны», то сразу вспомнила Мурзика, к тому времени уже погибшего. У Мурзика была величественная поступь Штирлица, его осанка и его нрав. Это был уже немолодой пес, прижившийся при нашем дворе. Его охотно подкармливали, а он скромно и исправно нес службу: охранял дом от воров и хулиганов, причем службу свою нес добровольно.

Мурзик снискал поистине всенародную любовь. Он был крепкий, импозантный и одновременно простой: с густой, как у медведя, шерстью цвета красного дерева, неизменно опрятный и учтивый. У него были умные, глубоко посаженные, серьезные, почти человеческие глаза. Лаял он густым баритоном, причем только по делу и только на чужих – подозрительно чужих, которых он шестым чувством умел отделять от живущих в нашем доме.

Рассказывали, что Мурзик сорвал однажды ограбление квартиры каких-то наших соседей, перегородив ворами дорогу в подъезд. И будто бы эти грабители вызвали потом в отместку собаколово, соврав, будто пес кидается на людей.

Доля истины заключалась вот в чем. Наезжавшие два-три раза в год собаколовы, охотившиеся за бездомными животными, по умолчанию делали вид, что у Мурзика хозяин есть: коллективный хозяин – наш дом. Мы, дети, слышав вдали первые хлопки выстрелов, мешающиеся с едва различимым воем и тревожным лаем, на который глухо отвечали все живущие близ дома собаки, тут же выскакивали из квартир и, передавая друг другу, как клич: «Собаколовы!», – бежали во все закоулки и подвалы, хватали, тянули дворняг в собственные прихожие, а родители, всегда порицавшие нас за игры «с этими блохастыми», проявляли в такие дни чудеса терпения. И конечно же первым в укрытии оказывался наш Мурзик.

Но в тот злополучный день грузовик с обшарпанной железной клеткой, в которой томились уже обреченно только что отловленные собаки, подъехал к нашему дому неожиданно.

Двое дюжих мужчин, выйдя из кабины со щипцами и сачком, деловито проследовали к Мурзику, задумавшемуся о чем-то у входа на площадку, и с поразительной быстротой накинули на него сачок.

Не издав ни звука, Мурзик, все так же задумчиво продолжал стоять и в сачке – огромном, перепачканном кровью.

Потом он пошатнулся и сел, по-стариковски неповоротливый, хотя и по-прежнему статный, по-особливому видящий все. Только задняя лапа у него едва заметно подрагивала, а из глубины неподвижных глаз бесслезно лилась печаль – последняя, уже неземная.

Эта печаль, когда я распознала ее, казалось, растворила окружающий мир, утопив его в себе. Мир внезапно потерял все доброе, сузился до скелета, как тело на рентгеновском снимке: я видела только, дымчатых призраков, механически орудующих сачком и щипцами.

Самое печальное, что призраками, предавшими своего верного друга – только словно загнипнотизированными, пригвожденными к месту, – оказались все мы, и взрослые и дети. Застигнутые врасплох действием, неотменяемость которого никто из нас просто не успел осознать, мы, дети, сорвались с места лишь тогда, когда машина с молниеносно вброшенным в клетку Мурзиком, дав газ, скрылась за поворотом.

Но как только машина унеслась, мир вернулся. И вернулся с пугающей силой второго пришествия Христа. Мы бежали с криком вслед неведомо куда исчезнувшему грузовику, надеясь срезать путь переулками и встретить его на шоссе. А матери, подхватив на руки дружно, как по команде, разревевшихся малышей – детская площадка была излюбленным местом их прогулок, – столпились на том самом месте, где только что была машина. В эту галдящую толпу женщин и детей стремительно вливались жильцы гудящего как улей дома. Они выскакивали из квартир, как будто пожар начался, и торопливо сбегали по лестнице, обмениваясь на ходу короткими восклицаниями. Уже внизу, во дворе, они изумленно пересказывали друг другу случившееся, и опять скорее языком жестов и восклицаний. Некоторые, возмущенно глотнув воздух, доходили до поворота, за которым скрылась машина, и, не обращая внимание на сигналы автомобилистов, шумно матерились.

Вышел из лифта домоуправ дядя Саша – и не узнал плещущего за порогом моря-мира. Так и замер подслеповато на верхней ступеньке подъезда, словно капитан попавшего в шторм корабля на своем капитанском мостике. Мостик-ступенька был теперь, как щепка, крутящаяся в водовороте.

Дядя Саша шагнул вперед, и его поглотила гудящая толпа.

Потом из толпы вынырнула его поднятая рука с материализовавшейся откуда-то красной папкой. И папка, и рука торжественно вплыли в белые «жигули», за рулем которых сидел еще один наш сосед.

Дав газ, «жигули», немедленно отправились, как нам, детям, казалось, в погоню за грузовиком. И возможно, эта погоня увенчалась бы успехом, но, к несчастью, ни домоуправ, ни владелец белых «жигулей», ни кто-либо другой из жильцов нашего дома понятия не имел об адресе того отвратительного, скорее всего загородного, спрятанного подальше от глаз и ушей учреждения, где из собак, как все тогда говорили, варят мыло.

Когда «жигули» поздно вечером вернулись и когда из них вышел осунувшийся, с серым от усталости лицом домоуправ, все уже знали, что Мурзик погиб. Кто-то все-таки дозволился до мрачного этого учреждения и получил короткую, как выстрел, справку.

С тех пор советское хозяйственное мыло, которое, как уверяли хорошо информированные источники, и вправду варилось то ли из жира, то ли из крови, а может, из смеси того и другого бродячих собак, стал прочно ассоциироваться у меня с памятью о Мурзике. Тем более что цвет мыла был красно-бурым, как шерсть нашего беззаветно преданного дому Штирлица, этого собачьего бога.

Интересно, что гибель Мурзика тут же обросла легендами и слухами. Выдвигались самые разные версии о том, кто же вызвал собаколовов. И наиболее популярной, наряду с версией о звонке в соответствующую службу воров, одно время была и самая нелепая, самая невероятная: дескать, во всем виновата первоклассница Лариска.

Первоклассница Лариска, жившая в соседнем доме, больше всего на свете любила возиться с собаками и кошками, вовлекая их в свои причудливые игры. Как-то, раздобыв красную шелковую ленточку, она повязала ее на шею Мурзику, и он от этого взбесился. Ведь впадают же в бешенство от красной тряпки быки. Взбесившись на время, Мурзик слегка цапнул Лариску за руку. Это увидела мать девочки, и она-то якобы и вызвала собаколовов.

Лариска непонимающе хлопала глазами, когда мы, дети, грозно пересказывали ей подробности этой душераздирающей истории, преградив ей вход на площадку. Она бесхитростно похохатывала, а потом, отбежав от нас на безопасное расстояние, смеяться перестала. Сидела на корточках, посматривала искоса на дальний угол площадки, где любил спать Мурзик, коротко вздыхала и чертила что-то обломком кирпича на асфальте.

Все это случится год или два спустя.

А в тот день, когда на площадке появилась черная собака, Сильвия, как я ее почему-то назвала, Мурзик был ее неоспоримым господином. Царем.

Он степенно подошел к гостье, пошатывающейся на худых, как у курицы, ногах, вежливо обнюхал ее и предупредительно встал рядом, голова к голове, – сильный, умный и нежный.

Черная собака, вынырнув из каких-то своих невеселых дум, вдруг благодарно лизнула его в уголок рта, утонув на миг носом в роскошной медвежьей шерсти.

Мурзик улыбнулся и сел.

Черная собака легла и прикрыла глаза.

Кажется, она попросила его охранять ее сон.

И Мурзик, кажется, тоже видел ее сон, ибо, пока она вот так лежала, то и дело пугливо вздрагивая всем телом, готовая в любой момент вскочить и обратиться в бегство, он, склонив голову, мучительно и беспокойно переминался. Взгляд его становился все суровой и одновременно нежней. Я никогда еще не видела такого обнаженного, как шпага, взгляда.

А потом Мурзик завыл – от всего своего обездоленного собачьего сердца. Словно Луну проглотил и та встала поперек всей его жизни.

Меня до сих пор преследует смутное чувство, что Мурзик наш в эти минуты взял на себя часть какого-то внутреннего груза той собаки, и его грядущая гибель началась отсюда.

Кто знает?...

А потом случился потоп.

Мы с Аппатимой и Афродитой сидели в подъезде, вцепившись в рвущуюся куда-то, практически обезумевшую Сильвию, и содрогались вместе с ней, слыша грозовые раскаты.

Мурзика с нами уже не было – шпага его служения была уже в ножнах. Передав эстафету ответственности за пришлую собаку нам, детям, он незаметно удалился, как только начался дождь.

На улице было светопреставление. Кто-то грозный и славный ловко орудовал белыми саблями молний. Зевс-громовержец носился по небу в огненной колеснице и стучал, как в шаманский бубен, в тяжелый щит. Звуковая волна ужасала Сильвию, и она пыталась удрать. Но не тут-то было! И дело даже не в том, что ее обхватили с трех сторон бдительные стражи – мы, – сразу за козырьком подъезда вода, лившаяся с неба, превращалась в кипящую, пузырящуюся реку. Река эта шумно неслась к автобусной остановке, откуда, надо полагать, смыло всех пассажиров. Лишь один – наш сосед – все-таки доплыл до белого дома-парохода, выпрыгнув почти на ходу из чего-то желтого, похож его на утлое суденышко, – это был

автобус-экспресс, скрытый стеной ливня. Чертыхаясь, он проворно взбежал по ступенькам и нажал кнопку лифта, двери которого тут же открылись.

Воспользовавшись случаем, Сильвия ловко вырвалась из наших рук и тут же тоже заскочила в кабину. Там она забилась в угол и отказалась выходить, как мы ее ни выманивали вчетвером... Чертыхаясь, сосед стал подниматься пешком, а Сильвия так и осталась сидеть в лифте.

Двери подъезда открывались и закрывались, люди приходили и уходили, но никто не решался составить компанию столь неожиданному попутчику. В ход пошли куски хлеба и колбасы, принесенные Афродитой из холодильника, но – без толку. Уже и гроза отбушевала, уступив место солнышку, чьи лучи искрились теперь в ряби луж, уже схлынула дождевая река... А Сильвия со всей силой своего упрямства все продолжала сидеть в лифте.

И мы решили: почему бы и нет?

Если ей так хочется, то пусть и живет там!

Надо было только придумать, что делать с другими потенциальными пассажирами.

Столь серьезный вопрос надо было обсудить хорошенько, никуда не спеша, но мы спешили – нам пора было в школу.

Сильвию мы пока что решили оставить внутри, а лифт – сломать.

Сломав лифт, мы заодно избавляли соседей от необходимости нервничать, думать о том, как подняться наверх или спуститься вниз.

А для того чтобы лифт не смогли отремонтировать, мы решили выкрасть из диспетчерской специальную палочку-выручалочку: стальную, с красиво оплетенной разноцветными проводками рукояткой. Без нее дверцы лифта не удалось бы открыть даже лифтеру. Аппатима сбегала в каморку, куда мы иногда заскакивали, чтобы поглядеть на табло с мигающими лампочками, и, воспользовавшись тем, что лифтер куда-то отлучился, без труда вынесла за пазухой этот давно привлекавший наше внимание предмет.

Притаившись на втором этаже, мы посмеивались над стариком-лифтером, который, обнаружив пропажу, долго бродил по двору, заглядывая во все углы, хотя ему и трудно было наклоняться из-за негнушейся от радикулита спины. Иногда он останавливался и недоуменно прислушивался к самому себе, а мы, перебрасывая палочку друг другу, делали вид, что фехтуем с ним на расстоянии.

Но стрелки часов уже перевалили за полдень, и дуть в школу надо было на всех парусах.

– Возьми, пожалуйста, палочку и мячик к себе, а то нам нельзя – Аэлита сразу настожится, начнет спрашивать, откуда они у нас, – неожиданно ласково сказала Аппатима, улыбаясь краями губ.

– Не проблема, – сказала я, небрежно завернула трофеи в свою красную кофту и унесла домой.

Мы твердо верили, что по крайней мере до нашего возвращения из школы Сильвии обеспечен сытный (мы оставили ей еду) и уютный угол в нашем гостеприимном доме.

### 3

В довершение к удачам так счастливо проходившего дня мамы дома не оказалось. Наверное, засиделась у соседки.

Спрятав мяч и палочку в картонный ящик под письменным столом, где хранились коллекция открыток и наклейки от спичечных коробков, я наскоро переоделась и, подхватив с тарелки бутерброд с маслом и сыром, который сжевала, пока спускалась по лестнице, понеслась в школу.

Как только за поворотом показалось синее и строгое, как форма милиционера, четырехэтажное, похожее на коробку здание, к которому спешили одинаково одетые дети, я резко перешла на шаг и остаток пути прошла напряженной, угловатой походкой, сутулясь, но при этом широко размахивая свободной от портфеля рукой.

Наш класс находился на втором этаже, прямо у лестницы, напротив женского туалета, рядом с залом, где проходили уроки пения. Я прошла к последней парте в первом от двери ряду, села и погрузилась в молчание.

Лицо у меня было непроницаемое, взгляд хмурый, и почему-то накатила усталость, хотя за несколько минут до того я была еще вполне себе бодрa и весела.

Вокруг было шумно: мои одноклассники обменивались знаками внимания, периодически подкрепляя их тумаками и подзатыльниками. Кто-то бегал, кто-то ходил, кто-то сидел и вопил... Летали портфели, пеналы, губка для доски. Но все это, существовавшее словно за тонким, невидимым стеклом, нисколько не трогало меня. Привычная суетня напоминала чем-то жизнь волнистых попугайчиков, выставленных на продажу в клетке зоомагазина: беспечных и неугомонных, скачущих с жердочки на жердочку, на все лады голосащих.

– Сделала русский? Дай списать! – сказал Деточкин, мой сосед по парте, ткнув меня в бок локтем – так, чтобы не было больно, но и чтобы по рассеянности не забыла: в случае чего может быть и больнее.

Вообще-то, соседа звали не Деточкин, а Алик Данилов, и он был, к моему счастью, персонаж достаточно миролюбивый, относительно независимый от влияния компаний и не вмешивающийся в свары и драки. Его посадили со мной за одну парту еще в нулевом классе – в те годы в Грузии существовали нулевые классы, с которых начиналось обучение. Потом следовали первый, второй и третий класс. В четвертом начальная школа заканчивалась, и мы, покинув класс на втором этаже, должны были кочевать из кабинета в кабинет к разными педагогам, ведущим разные предметы. Таким образом, десятилетка на самом деле была одиннадцатилеткой.

Деточкиным своего соседа по парте прозвала я – в честь главного героя рязановской комедии «Берегись автомобиля». У Алика был такой же, как в кино, большой черный пузатый портфель и такие же волосы соломенного цвета, а глаза – какие-то васильковые. Правда, с Юрием Деточкиным хотелось дружить, а с Аликом – нет.

Говоря по правде, прозвище ему льстило, и он был не против называться Деточкиным. Но только на основе молчаливого уговора – никто больше, кроме нас двоих, о прозвище знать не должен. А я уговоры обычно не нарушала.

Без лишних слов я выложила перед Даниловым тетрадь по русскому языку, а он отдал мне свою тетрадь по математике. И мы заскрипели перьями автоматических чернильных ручек, от которых у меня все время были пятна на пальцах.

Прозвенел звонок, но в классе ничего не изменилось. Разве что вбежали бесцельно слонявшиеся до этого в коридоре лица и решительно протопала к парте, стуча каблуками больших, не по ноге, туфель, Аппатима.

Когда появилась Зоя Михайловна, наша первая и единственная пока учительница, не считая учителей физкультуры и пения, гул стих. Начался урок чтения, и тонкое стекло между мною и классом растаяло в лучах исходящей от нее простоты. Зоя Михайловна была высокой, стройной женщиной лет сорока семи; у нее были мягкие васильковые глаза и красиво уложенные сзади густые белокурые волосы. Не властная и немногословная, она была авторитетом для нас. В ее присутствии все быстро приходило в лад, а сама она благодаря безупречному вкусу и какой-то природной чуткости оставалась за гранью придиричivosti.

Уроки чтения всегда проходили в тонкой поэтической атмосфере, которая так завораживала меня, что слова для ответов с места вылетали сами собой, и в журнале напротив моей фамилии всегда стояли пятерки с четверками.

Но сдержанно-одобрительная улыбка Зои Михайловны, с которой она заносила отметки в мой дневник, всегда порождала у меня робость. Я вжималась в парту и потом изо всех сил старалась ни в чем ни себя, ни ее не подвести, не уронить этого навеянного неведомо каким ветром доверия.

В тот день Зоя Михайловна певуче рассказывала стихами Есенина и зарисовками Пришвина и Бунина о золотой осени, и я никак не могла выплыть из тонкой дымки в конце урока, оставаясь где-то внутри с поэтами и писателями. А класс, напротив, моментально высыпал вместе со звонком наружу. У всех душа нараспашку, все смеялись и шутили, тогда как я оставалась серьезной.

И опять пролегла невидимая грань между мною и классом – такая, должно быть, бывает в цирке, когда по случайности между веселыми, эксцентричными людьми окажется какой-нибудь профессор.

А ведь только что все мы, затаив дыхание, слушали Зою Михайловну, и я была едина с классом!

Вздыхнув, я погрузилась для виду в учебник. Между бровями пролегла складка, лицо суровое и напряженное, взгляд опущен.

Я решила не выходить на перемену. Сидела и просматривала рассеянно случайно подвернувшийся под руку учебник, который оказался учебником математики, а в математике я ровно ничего не смыслила.

Но большинство, наверное, полагали, что я действительно готовлюсь к предстоящему уроку. И опасались нарушить личное пространство столь занятого человека.

Не нарушала его и Аппатима – и не только в тот день.

Хотя у нее, как и у меня, друзей в классе не было, мы с ней отчего-то не смотрели друг на друга, когда приходили в школу. Трудно было заподозрить в нас двух подруг.

Аппатима сидела в том же ряду, что и я, но на две парты впереди, так как она была пониже ростом. Она тоже осталась в классе. Навалилась всей грудью на парту, почти легла на нее, и быстро списывала левой рукой домашнее задание из чьей-то тетрадь. Аппатима была левшой, и тетрадь свою всегда держала чуть ли не вертикально, что вызывало у ребят неизменную иронию, за которую они могли схлопотать от стремительно сорвавшейся с места Аппатимы ощутимую оплеуху.

Дописав, Аппатима ткнула кулаком в спину сидевшего впереди Колю Гладушко, чтобы передать ему тетрадь с задачками по математике, из которой все безбожно сдували. Коля обернулся, бросил на меня, корпевшую над учебником, взгляд и довольно громко произнес:

– А ты уверена, что решение правильное? Давай на всякий случай сверим ответы у твоей подруги.

– У какой подруги?

– Да у Марии.

– А она мне не подруга. И вообще, нашел у кого спрашивать, много она знает!

Приподнявшись над партой, Аппатима склонилась над ухом Коли и что-то горячо зашептала, после чего тот, снова стрельнув в мою сторону озорным карим глазом, коротко хохотнул.

Стекло, через которое я смотрела на класс, совсем затуманилось, и стало тихо, как в аквариуме.

За весь школьный день мы с Аппатимой больше и взгляда не бросили друг на друга.

Прозвенел звонок с последнего урока, я уныло дождалась, когда рассосется пробка из торопящихся выбежать одноклассников, и вышла последней.

Ощущение аквариума немного отпустило. Я шла все быстрее и быстрее, но легче не стало – обида и злость, просачиваясь наружу, все больше захлестывали меня. С какого-то

места – кажется, когда я ощутила спиной, что здание школы скрылось за поворотом, – я не выдержала и перешла на бег.

Мне нужно было поскорее добежать до лифта, чтобы, выпустив Сильвию, прогнать ее.

Почему-то мне позарез захотелось прогнать черную собаку из нашего двора. Будто она повязала нас с Аппатимой какой-то нехорошей тайной.

Помню, что в этот момент у меня возникло смутное подозрение, что во мне словно два человека. Один из них, бодрый и бойкий, выходит из дому, добегают до поворота в школу, а дальше передает эстафету другому: своей почти что противоположности. И этот другой персонаж – тоже я. Но какая из них я настоящая, понять было невозможно даже мне. Так что чего уж тут пенять на Аппатиму, которая совершенно искренне не воспринимала персонаж номер два, не понимая его. Ведь она привыкла во дворе, где мы проводили большую часть дня, к персонажу номер один. И отчего бы ей не сказать всенародно с чистой совестью, что она не дружит со вторым персонажем, тем, что в школе?

Однако я отогнала от себя эту мысль ввиду невозможности остаться один на один с собственным, так сказать, двуличием – по причине неспособности в нем разобраться.

«Не могу. Пока не могу... После пойму. Когда вырасту!» – шепнул кто-то третий, далекий и неведомый.

И я пуще прежнего заспешила к дому, лелея зреющую на ходу месть.

Но в лифте, который уже исправно работал, несмотря на украденную нами вещицу, Сильвии не оказалось. В нем не было даже ее следов в виде подстилки и миски.

Мне стало совсем уж грустно. Захотелось снова увидеть эту до странности болезненную собаку, прижать ее к себе и не отпускать, сидеть рядом с ней до заката солнца. А может, и до восхода. Сидеть всю жизнь и не ходить больше в школу, да и дома не появляться. Просто ездить в лифте. А еду будет приносить Аппатима. Или лучше лифтер.

А лифтер между тем, как оказалось, уже разыскивал меня.

Мать с порога объявила делано-невозмутимым тоном:

– Приходил лифтер.

– Ну и что? – ответила я тем же тоном.

Пройдя в залу, я покосилась на коробку с моими коллекциями, куда сунула злополучную палочку, – коробка по-прежнему стояла под столом, задвинутая к самой стенке.

– Как это что? Вы испортили лифт. Притащили какую-то собаку да еще и изгадили его. То есть собака изгадила, я извиняюсь, говном. А мне и твоего говна хватает! Я кручусь как белка в колесе одна. Твой отец мне не помогает... Мало мне было еще с утра позора за ту комедию, которую ты устроила на площадке.

– Какую комедию?

– А то ты не понимаешь!.. Вот подожди, приедет отец – я ему все расскажу... Про твою испорченность.

– Нет, я не понимаю. Не понимаю!.. А вообще-то, это дело у нас в семье привычное – не понимать.

– И кстати, ответь мне, пожалуйста, зачем ты пошла к тете Наде за вторым пирожком? Тебя что, дома не кормят? У этой змеи вообще ничего не надо было брать.

– А это уже... Вот дрянь... эта твоя тетя Вера. Успела наябедничать!.. А ты... ты скоро со всем домом переругаешься. Скажи, много ли кого в подъезде осталось, с кем ты здороваешься?

– Сплетники они все и подхалимы. И подлецы. С кем тут здороваться. Эта Надя встретила меня на лестнице и говорит со своей ядовитой улыбочкой: «Ах, вашей девочке так понравился мой пирожок, что она ушла, а потом вернулась и попросила второй. Большая она уже у вас». Да уж, как в воду глядела – чересчур большая, оно и видно.

– А зачем же ты до сих пор общалась с тетей Надей, если тебе так не нравится ее улыбка?

– А зачем ты общаешься с Аппатимой? Ведь она тебе не нравится! Не так ли?

Выпалив это, мать осеклась, увидев, как внезапно побледнело мое лицо. Видимо, пытаюсь что-то понять, она выдержала паузу, но хватило ее ненадолго, и она закончила своим коронным язвительным тоном:

– Ведь она тебя унижает! Что за дружба такая странная, никак не пойму.

Я сжала кулаки, чтобы не дать выход нахлынувшей ярости. Сейчас как выкрикну в лицо матери какие-нибудь жуткие ругательства – так уже бывало не раз. А может быть, и разобью что-нибудь. И потом уйду, хлопнув дверью, во двор.

Но мать вовремя метнулась на кухню снимать с плиты чадающую сковороду. И уже оттуда донеслось привычное: «И зачем я тебя родила?» Хоть бы пластинку сменила, что ли.

– И кстати, верните лифтеру инструмент, который вы сперли. Пока он не обратился в милицию... И поживей!

Тот, кто видел картину Сальвадора Дали про сон за секунду до пробуждения, ну, ту, где в ухо спящему человеку жужжат, рычат и трубят пчела, тигр и слон, поймут состояние, в каком я выудила из коробки палочку лифтера. С омерзением бросив ее на пол, как змею, я выскочила на лестницу.

– Сама неси! – крикнула напоследок.

Не помню, сколько прошло часов, прежде чем я встретила с Аппатимой.

Кажется, было уже десять. В освещенном фонарями сумраке курсировали редкие прохожие. Звуки их шагов по неровному, присыпанному гравием асфальту казались скрипом и шелестом теней. Шаги заглушал торжественный голос диктора Центрального телевидения: у кого-то было открыто окно, и хозяева квартиры, включив телевизор на полную катушку, слушали программу «Время». В углу площадки прильнули друг к другу сжавшимися тенями старшекласник и старшекласница; они приходили сюда каждый вечер.

Да и я сама, наверное, была похожа на призрак, а Мурзик, услужливо следующий рядом со мной, нога к ноге, вероятно, думал, что я проглотила черную собаку и теперь та поселилась у меня внутри.

В продолжение этого вечера, который явно не задался, я совершила много славных дел: доставала из развороченных нор больших зеленых ящериц и играла с ними, а Мурзик лежал рядом и грустно поглядывал исподлобья, переводя время от времени слезящийся взор на заходящее солнце; отпускала ящериц, оторвав у них на память хвосты – на их память; забрасывала хвосты в камыши и открытые окна квартир на первом этаже. Потом я переместилась к роскошному саду, который вырастил позади соседнего дома офицер запаса, про которого говорили, что он куркуль. Я не знала значения слова «куркуль», но огражденный высоким железным забором с колючей проволокой поверху громадный кусок земли с аккуратно подрезанными яблонями, айвовыми и инжировыми деревьями, с выложенным голубым кафелем круглым бассейном в центре и росшей около него пальмой с трепетно-изысканными ветвями-опахалами казался среди прочих небрежно огороженных участков каким-то заморским, а следовательно, чужеродным, оправдывающим те укоровизненные интонации, с которыми произносилось слово «куркуль». Воспользовавшись сумерками, я прошлась по саду куркуля, как татаро-монгольское нашествие: открутила от забора, чтобы перелезть через него, не только часть проволоки, но и виноградную лозу, повыбивала ногой все подпорки из-под каких-то неизвестных растений. Заодно зачем-то вытряхнула вместе с землей из цветочного горшка фикус и бросила его в бассейн, а после принялась ожесточенно срывать крошечные зеленые яблоки и кидать их через забор к лапам молчащего в темноте Мурзика.

Под конец я сорвала приглянувшуюся мне пальмовую ветку, чем-то похожую на хвост павлина, и теперь решительно шагала, помахивая ею, по направлению к своему подъезду.

Но дорогу мне преградила внезапно материализовавшаяся из ниоткуда Аппатима.

– Прогуливаешься? – спросила она не предвещающим ничего хорошего, делано-равнодушным тоном, чеканя каждый слог.

Фигура ее сливалась с растущими вдоль подъезда декоративными кустами в человеческий рост, высаженными жителями нашего дома.

– А чего тут такого? – машинально ответила я в тон, не сбавляя шага. – Некогда мне. Ночь на дворе!

– Получай! – звонко крикнула Аппатима, и позвоночник в районе поясницы пронзила запредельная, рушащая все связи с действительностью боль.

Сознание мое на несколько секунд погрузилось в полную темноту, я только молча и бессильно глотала ртом воздух. В этом жутком состоянии я все же попыталась дотянуться до сомкнутых кустов, среди которых притаилась фигурка Аппатимы.

Провал. Потом я оперлась на руку тети Тамары, которая появилась, будто из-под Земли, с фонариком в руке, луч которого полоснул по кустам, осветив стремительно унесшуюся в свой подъезд девчонку.

– Я так и знала, что это была дочь Трифона, – решительно сказала тетя Тамара. – Она и моего ребенка сегодня покалечила. Исцарапала, дура такая, моей Регине лицо. Мы с тобой завтра в милицию пойдем.

...И ведь действительно пошли.

Тете Тамаре – матери двух сестер-погодков, Ии и Регины, учившихся в параллельном классе, а жили они все в нашем же подъезде на втором этаже, – удалось убедить мою маму, что с Аппатимой можно справиться только силами общественности. Им двоим, с молчаливого одобрения сестер, удалось убедить меня поведать о наших приключениях последних дней. Я с жаром рассказала, повторив потом этот же рассказ инспектору по делам несовершеннолетних, как ловко Аппатима втянула меня в ограбление детского сада и диспетчерской. В доказательство я представила мяч, который прятала в своей коробке.

Странно, что никому из взрослых, включая инспектора, не пришла в голову мысль, что на самом деле детсад и диспетчерскую обчистили двое – Аппатима и я, и это не считая хронически молчащей Афродиты. Впрочем, были ли эти люди взрослыми? На мой теперешний взгляд, они были заигравшимися в жестокие игры детьми, втянувшими в свое так и не окончившееся невежественное детство и нас с самых пеленок, а мы, как могли, копировали их повадки не хуже попугаев.

Следующий день невозможно вспомнить без стыда.

Мы все – мать и отец Аппатимы, ее старшая сестра Аэлита, тетя Тамара с Региной, моя мама и я – сидим полукругом в детской комнате милиции перед столом инспектора, и тот, обращаясь к одной Аппатиме (она стоит), перечисляет все наши проступки, записанные с моих слов. После каждого пункта он требует подтверждения сказанному. Аппатима чуть слышно, ни на кого не глядя, подтверждает. Она очень бледна и серьезна, желваки так и ходят, и подергивается кадык на шее. Руки за спиной сжаты в кулаки. Заметив это в какой-то момент, инспектор вдруг орет, стукнув по столу:

– А ну встань нормально! Руки вперед!

Аэлита – она и здесь в пионерском галстуке – пытается протестовать.

– Вы не имеете права, – говорит она тихим, глубоким, полным внутреннего достоинства голосом, в котором сквозит что-то такое... похожее на паутинку в лесу, отчего у меня на глаза вдруг наворачиваются слезы.

Я больше не вслушиваюсь в происходящее, тем более что инспектор теперь только орет уже на Аэлиту, а та в ответ гнет что-то свое. Если отсечь слова, то спор их видится как погоня одного голоса за другим – взрослого за детским. И детский вроде бы не прижат к

стенке, мог бы еще бежать, но нет, встал как вкопанный, и взрослый бешено бьется об него, как головой о стену.

У меня не было на Аппатиму ни капли злости. Вляпавшись в это позорное судилище, я простила ей все прошедшие и – наперед – грядущие обиды и сейчас с радостью выскочила бы с ней отсюда. И даже подарила бы ей свою коллекцию открыток и все пять мячей – самых разных, – которые перекатывались у нас по комнатам, попадая маме под ноги, и она шумно сетовала, что не надо было столько покупать.

Но что-то подсказывало мне, что Аппатима не примет моих подарков.

История с походом в милицию закончилась банально: строгим предупреждением о том, что при повторной краже либо драке Аппатима загремит в колонию. Хотя и малолетка.

За сим последовал выговор директору школы.

Ну а после уволилась наша учительница, Зоя Михайловна.

Уволилась по собственному желанию, ничего никому не сказав о причинах.

О причинах догадывались только мы с Аппатимой...

Все произошло внезапно. Зоя Михайловна провела, как обычно, все полагающиеся уроки и буднично объявила, что с завтрашнего дня переходит на другую работу.

– А теперь прощайте, дети! – сказала она глубоким грудным голосом, в котором была, однако, какая-то трещинка, как ни старалась она ее утаить.

Природная выдержка ей все-таки изменила в этот момент. Сначала она стояла и задумчиво всматривалась в журнал с нашими фамилиями, словно в начале, а не в конце урока. Потом, подняв голову, решительно закрыла журнал и сказала с чувством, нараспев, со срывающимися интонациями:

– Будьте счастливы, дети! – Обвела нас всех грустным, нежным взглядом и торопливо вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Так в автобусе щелкают двери, когда из салона навсегда выходит одинокий пассажир.

А мы, прижатые к своим местам внезапно навалившейся всей тяжестью Земли, поехали дальше.

#### 4

Наверное, все уже поняли, что, невзирая на разные неурядицы, случившиеся со мной и сказывающиеся на отношениях с соседями, дом, в котором я жила, был для меня больше, чем дом. Это был самый лучший в мире дом. И город мой был больше, чем город. И страна... Правда, школа была как школа. Но со школами так бывает часто, и это в данном случае было не слишком важно.

Наш дом был ведомственный – построен для сотрудников грузинского отделения Главного управления геодезии и картографии, сокращенно ГУГК. Случилось это на пятом году моей жизни, после чего мы с матерью, как и семьи других геодезистов-полевики, перестали мотаться по съемным квартирам и по экспедициям, в которых работал мой отец, и, что называется, перешли к оседлости. Отец же продолжал колесить по всему Советскому Союзу вместе со своей геодезической партией, которой бессменно руководил с каких-то неведомых мне времен, и наведывался домой только изредка.

Итак, почти весь наш дом, за редкими исключениями, был заселен семьями геодезистов. Кто-то из них имел постоянную работу в Тбилиси, а кто-то, как отец, разъезжал по всей стране.

Все они подчинялись непосредственно Москве – там располагалось их министерство и туда же отправлялись потом учиться в Институт геодезии и картографии отпрыски геодезистов – те из них, кому не опротивела за годы экспедиционных будней отцов и матерей эта отнюдь не романтическая работа.

Поэтому дух в нашем доме был, как сказали бы сегодня, корпоративный.

То есть жили относительно дружно, без серьезных эксцессов, и все про всех знали. Старались не ударить в грязь лицом, ни в чем от других не отставать... Словом, старались!

Разбор полетов такого рода, какой был устроен по поводу Аппатимы, был нетипичен. Поэтому, после того как моя мать и тетя Тамара отнесли заявление в милицию, отец Аппатимы, также сотрудник геодезического отделения, потребовал у себя на работе созвать товарищеский суд, надеясь выяснить, зачем это его товарищам понадобилось, ничего не сказав родителям ребенка, сразу тащить девочку в милицию. Неужели нельзя было для начала обратиться к нему?...

И такой суд состоялся. Моему отцу, только вернувшемуся из экспедиции, пришлось выслушать в свой адрес не одно критическое выступление. Про милиции он ничего не знал. Придя домой, он обозвал мать душой и на следующее утро уехал.

Тетя Тамара уже через неделю после суда как ни в чем не бывало щебетала о своем о женском с матерью Аппатимы, а муж тети Тамары, встречаясь на улице с отцом... моей подруги, по-прежнему приветливо здоровался с ним, как и со всеми, за руку, хотя и был весьма важной птицей – начальником отдела, а отец Аппатимы был птицей рядовой – обычным сотрудником.

И только моя мама по прямолинейности своей натуры вычеркнула из своей жизни до скончания веков их всех. Пожалуй, только она не вписывалась в сложный, управляемый скрытыми подводными течениями корпоративный дух.

Поскольку организация черпала свои главные кадры в Москве – тбилисский топографический техникум, который окончил мой отец, давал только среднее специальное образование, – то дух этот был еще и русский. То есть по тем временам – интернациональный. Помимо грузин, в нашем доме жили русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, осетины, курды, греки... И все общались меж собой на грузинском или на русском. Русская речь была преобладающей, тем более что в доме было много смешанных семей: русские жены составляли большинство.

Широка страна моя родная!.. То, что мой адрес не дом и не улица, а Советский Союз, я впитала буквально с пеленок, и отнюдь не из песен. Отец-грузин познакомился с моей мамой, наполовину казачкой, чьи предки жили в Запорожской Сечи, в Ашхабаде, где на тот момент стояла его экспедиция и где моя мать, бросив медучилище в Запорожье, временно проживала у сестры, которую распределили после педвуза в Туркмению. А я родилась в соседнем Узбекистане, в маленьком, приграничном с Туркменией городке Тахиаташ Каракалпакской автономной области, близ мест, которые Андрей Платонов изобразил в повести «Джан» как символический Ад в глубине пустыни, из которого Назару Чагатаеву, герою произведения, надлежало вывести мифический народ. «Джан», кстати, переводится на русский язык как «душа». А в Тахиаташ перевели воинскую часть, где служил офицером муж моей тети.

Но вернемся в Тбилиси. Русская речь притягивала в наш двор все русскоязычное население района, от мала до велика. Он был маленькой Меккой, своего рода Византией. Иногда грузины даже называли его со снисходительной иронией Москвой. Тем более что обустроен наш двор силами жильцов был на славу. Футбольно-баскетбольное поле, песочница, столы с лавочками, многочисленные скамейки... И все это – среди высоких тенистых кленов, тополей, ив и акаций.

Район примыкал к водохранилищу на северо-востоке и назывался – по названию водохранилища – районом Тбилисского моря. К нему ходили особенные – голубые – трамваи. Он был частью административного образования с названием «Поселок ТЭВЗа». Загадочная для непосвященных аббревиатура, напрягавшая работников почты в других республиках, расшифровывалась просто: Тбилисский электровозостроительный завод. На этом заводе, рас-

положенном в пятнадцати минутах езды от Тбилисского моря, выпускали известные на весь Союз электровозы.

В самом начале, когда мы вселились в дом, он стоял в чистом поле, рядом, правда, была гора с искусственно высаженным сосновым лесом, которая возвышалась над Тбилисским морем. Чуть дальше была котловина, где строители возводили новый микрорайон. Когда я пошла в школу, вокруг уже был тот самый город-сад, про который писал Маяковский: «Я знаю – город будет, я знаю – саду цвести, когда такие люди в стране Советской есть!» Раскинулись парки и сады, зазеленели деревья, там и сям буйно разрослись огороды. И жизнь стала под стать ландшафту – светлой и по-своему удивительной.

К примеру, площадка перед нашим домом, которую почему-то называли детской, хотя она предназначалась для всех, возникла, можно сказать, в одночасье, в день субботника, и строили ее не только взрослые, но и дети. Мы тоже носили песок и щебень, помогая своим тридцатилетним родителям, – таков был средний возраст жителей.

Но была рядом с нашим домом, на углу, и другая стройка. Ее называли в народе «стройкой коммунизма». Вроде как тоже детская – строили бассейн-лягушатник, но никак не могли построить. Территорию обнесли бетонной стеной, похожей на крепостную, и здесь благополучно могла бы разместиться автостоянка. Втихаря она тут и размещалась – по вечерам в ворота, охраняемые сторожем, въезжали какие-то частные автомобили.

«Стройка коммунизма» началась в год, когда я пошла в нулевой класс, но так и осталась памятником эпохи: благополучно встретила третье тысячелетие и, вероятно, встретит четвертое.

Эти два рукотворных объекта – наша чудесная площадка, готовая раскрыть объятия для всего мира, плод радостного коллективного труда, и обнесенный высокой бетонной стеной лягушатник, продукт бюрократического очковтирательства и казнокрадства, охраняемый лопающимися от важности пенсионерами, – были своего рода символами двух противоположных, разнонаправленных течений, которые олицетворяли, то приподнимая на гребне времени, то опуская на самое дно, нашу девочку-страну.

Думаю, отнюдь не случайно стояли они друг против друга.

И меж ними проходила дорога от дома до школы – моя первая в жизни дорога.

## 5

В третьем классе я съехала на тройки и сидела на последней парте уже одна – Деточкин куда-то пересел, а других мой суровый, неприступный вид отпугивал.

Границы моего личного пространства обычно нарушала только Лали Киасашвили, добродушная полноватая девочка с рассеянно-мечтательной улыбкой, выглядевшая порой как сомнамбула. Она была неглупа, значилась в хорошистах – или, как тогда говорили, ударниках – и была к тому же проницательна и любопытна.

Когда она подсаживалась ко мне на переменке или подходила в коридоре, где я стояла у окна или слонялась туда-сюда без всякой цели, то сразу, с места в карьер, принималась рассказывать очередную историю из жизни своего семейства, которое очень любила. Все эти рассказы про отношения ее бабушки, матери, отца и младшей сестры, церемонные и полные скрытой теплоты, не сказать чтобы трогали меня, но все же несколько скрашивал мое одиночество.

Поговорив о своем, Лали, прищурив близорукие, вечно смеющиеся глаза, принималась сначала издала, а потом все настойчивей тормозить меня расспросами уже про мою семью. А что я могла ей рассказать про свою семью? Это был больной пункт, и я, уклоняясь так и этак, в конце концов замыкалась.

К счастью, перемены были короткими, и пытка вопросами длилась недолго.

Моя жизнь вне школы по-прежнему раздваивалась.

На парте под учебником у меня лежал журнал «Юный натуралист», который я украдкой читала на уроках, вместо того чтобы слушать учительницу. Марина Арутюновна, невысокая худощавая женщина в очках с толстыми круглыми стеклами, уже немолодая и вспыльчивая, заменившая Зою Михайловну, особо не следила за тем, кто с кем сидит, да и вообще на многое смотрела сквозь пальцы. Психологический климат в классе ее не интересовал, внимание ее целиком было сосредоточено на предметах и формальной дисциплине; и тому и другому она придавала большое значение.

Я к тому времени состояла в заочном «Клубе почемучек» при «Юном натуралисте» – была в журнале такая рубрика-викторина для младших школьников, участникам которой высылался за правильный ответ на три не особо сложных вопроса членский билет. Про этот билет моя мать с гордостью рассказала той же Лали Киасашвили, случайно встретив нас идущими вместе из школы; еще она добавила, что я обращаюсь с природой без всяких сантиментов. Может быть...

По-прежнему, чем дальше я отходила от своей парты в классе, тем быстрее слетала с меня скованность. А когда за поворотом скрывалось словно одетое в милицманскую форму здание школы, мне становилось совсем хорошо. Я на ходу сбрасывала с себя налет цивилизованности, как надоевшее школьное платье; внутри меня словно солнце поднималось, растапливая скопившийся за школьный день лед. Бросив в прихожей портфель с членским билетом «Юного натуралиста», я уносилась, наскоро перекусив, в лес, в овраг или на огороды. Ловила там бабочек, не заботясь о том, что с ними будет дальше, по-моему, даже не сознавая, что это живые существа, – мне просто нравилось разглядывать узоры на крыльях. В птиц я стреляла из рогатки, правда, к моей досаде, никогда не попадала. А ящерицам теперь не просто отрывала хвосты, а вспарывала лезвием брюхо, чтобы посмотреть, как они устроены. Еще я разводила дома в банке гусениц, безуспешно пытаясь подсмотреть момент превращения в бабочек-капустниц. Из того же любопытства я раскалывала яйца голубей... И это еще не все. Но чтобы окончательно не шокировать читателя, лучше благоразумно сократить список, пополнение которого подстегивалось все более усложняющимся интересом к различным формам жизни.

Я еще не решила, кем я стану, когда вырасту, – географом-путешественником или хирургом: именно эти две профессии влекли меня на тот момент с пьянящей силой. Целыми днями я читала книги знаменитых путешественников, особенно Тура Хейердала и В. Арсеньева, перебивая их брошюрами про флору и фауну, и предавалась в мечтах прелестям жизни среди дикой природы. Друзей у меня во дворе после прошлогоднего разрыва с Аппатимой, с которой мы теперь стали смертельными врагами, не было.

Иногда ради того, чтобы побольше побыть «на природе», я пропускала школу, и моя мама, руководствовавшаяся принципом «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», писала потом объяснительные записки – мол, не было меня по уважительной причине: приболела.

Наконец Марина Арутюновна обратила на пристальное внимание на мои пропуски и принялась меня «воспитывать».

Слово «воспитывать» я беру в кавычки с той же иронией, с какой заключила в них кощунственное в моих устах слово «природа».

«Воспитание» заключалось в том, что почти на каждом уроке Марина Арутюновна вызывала меня к доске и невозмутимо ставила двойки за отказ отвечать. А я и не собиралась заниматься всеми этими предметами, у меня просто не было на них времени.

Происходило это обычно так.

– Кикнадзе!

Уже заранее приготовившись, я небрежно вставала, хотя сердце каждый раз екало.

– Выходи к доске.

– Я не готова.

– Садись, два. Тише!.. Тише!.. Это и вас всех касается, совсем распустились!.. Подожди, подожди, не садись. Скажи мне, пожалуйста, почему тебя вчера опять не было в школе?

– Я болела.

– Опять?

– Что значит – опять? Болею я... Не верите – вот справка от родителей.

– Да знаю я, знаю, что у тебя есть справка... Кстати, объявление для всех: справки от родителей больше не принимаются. Заболели – вызывайте врача. Это приказ директора. Я не хочу получать из-за вас выговоры... Так, Мария, теперь ты... Скажи мне, ты правда настолько больна?

Вопрос был какой-то нехороший, с подвохом. Как на него не ответишь, все равно попадешь в неприглядное положение. И я, покраснев, взвинченно отвечала – тоже вопросом:

– А что вы хотите?

– Я хочу, девочка моя, чтобы ты начала заниматься. Ведь ты же способная!

– Не знаю я урока. Ставьте «два».

И, не спросив разрешения, я села на место.

Самое интересное, что в словах моих про болезнь была доля истины, за которую я из-за всех сил держалась, лелея ее как высшую справедливость: уж если мне случилось действительно заболеть, то длилось это порой месяцами. Так, в первом классе я почти не ходила в школу из-за хронического бронхита, к тому же осложненного аллергией, и меня вечно таскали по врачам, подозревая то астму, то порок сердца, то ревматизм. И на всякий случай освободили от физкультуры, на которую я не ходила всю начальную школу. Собственно, мама мирилась с моими пропусками больше из медицинских соображений: она опасалась, что за нежеланием идти в школу может скрываться признак наметившегося в организме недомогания, которое нельзя просмотреть. Будет лучше, считала она, если я этот день проведу у нее на виду, пусть и появляясь из леса или оврага лишь изредка, чтобы отметиться на площадке, которую она частенько обзревала с нашего седьмого этажа.

Глупое противостояние с Мариной Арутюновой, начавшееся во втором полугодии, к весне привело к тому, что мне и вовсе расхотелось ходить в школу. В один прекрасный день я так и поступила, когда нашла для себя одно полезное и увлекательное занятие.

Дело было в мае. Пользуясь теплынью, многие жители микрорайона расплозились, как проснувшиеся божьи коровки, по садово-огородным участкам, разбитым позади домов и на склоне оврага. Огородничество было так популярно, что со временем на участки, где густо колосилась кукуруза, росли подсолнухи и тыквы, был изрезан с нашей стороны почти весь овраг, и это при том, что тянулся он, фактически разделив поселок ТЭВЗа на две не сообщающиеся между собой половины, полосой в несколько километров.

Но в год, о котором идет речь, огородов еще было мало и жались они ближе к заболоченному дну, где камыши вымахивали выше человеческого роста. В камышах квакали лягушки и водились ужи, но зато можно было черпать воду для поливки.

Огородничеством в основном занимались пенсионеры, и нам, детям, любившим играть в овраге в войну, в казаки-разбойники или просто бродить, собирая камушки, выкапывая какие-то диковинные цветы, ловить бабочек, жуков и стрекоз и все тех же многострадальных ящериц, нравилось наблюдать и за их работой. Если, конечно, те не вредничали и не гоняли нас как потенциальных вредителей.

Работа в саду-огороде была для меня чем-то диковинным, а посему манящим, и я любила, примостившись на пригорке, созерцать происходящее с любопытством неопита некоего греческого культа. Сидя так однажды, я долго следила за точными, плавными движениями *тохи* – так в Грузии называли мотыгу – в руках высокой стройной старухи в панаме

и очках, которая иногда, прервавшись, садилась на складной брезентовый стульчик и рассеянно погружалась в раскрытую на коленях книгу. Солнце, влажно отражаясь от куска ослепительно-белой, как ртуть, алюминиевой штуковины в оградке, собранной из всякой всячины, окаймляло ее умиротворенную фигуру, как нимб.

В разморенной моей памяти всплывали кадры из фильмов про колхозы. Герои труда, восседая на тракторах и в комбайнах, вглядывались с гордой улыбкой в необозримые колосящиеся поля, среди которых шли с серпами и вилами радостные крестьяне. Иные из них пели, иные молча улыбались, а иные что-то оживленно рассказывали дивным белокурым детям в вышитых рубашках и сарафанах. Вот кто-то надел сплетенный из колосьев, ветвей дуба и цветов, сияющий росой венок; казалось, заключающий в себе всю палитру красок, он летит прямо по воздуху. И на малыша, который шел рядом, держась за руку взрослого, тоже надели венок...

Эта фантазия ударила мне в голову, и кадры замелькали быстрее.

«Хлеб – имя существительное», – со светлой грустью в голосе говорила нам когда-то, обращаясь в мыслях к книге писателя Михаила Алексева, Зоя Михайловна. И правила грамматики усваивались на лету, как подброшенные в стаю голубей зерна.

Полными пригоршнями набирали зерна и протягивали кому-то на весу детские ладони, полными пригоршнями набирали зерна и протягивали кому-то на весу чьи-то широкие мозолистые ладони. Это тоже был кадр из фильма, то ли когда-то виденного, то ли придуманного мной, – я уже не отличала вымысла от реальности. Подталкиваемая впечатлениями, я бежала вприпрыжку со своего пригорка и принялась очищать землю под собственный огород – как раз за межей участка, где сидела к тому моменту, склонившись над книгой, бабуля... Да нет, не бабуля – при ближайшем рассмотрении она оказалась просто немолодой женщиной.

До конца дня она не обращала на меня никакого внимания, видимо принимая мои действия – выдергивание травы, камышей и колючек, выковыривание камней – за игру.

Но когда утром я пришла в школьной форме, с портфелем в одной руке и лопатой – в другой (дома я сказала, что лопата, которую отец принес когда-то со склада на работе, нужна для урока труда на школьном приусадебном участке, хотя никакого участка у нас не водилось), ее деликатное равнодушие сменилось пристальным, стремительно нарастающим, словно поднимающимся на склон высокой горы, вниманием, перешедшим наконец в изумление, когда достигло вершины.

Просияв, она крикнула весело и приветливо:

– Дорогая, скажи, пожалуйста, чем ты тут занимаешься?

Голос у нее был прямо-таки бархатный, словно пересыпающийся зернами того самого хлеба, который имя существительное. И ему сопутствовал легкий акцент – женщина была грузинкой.

– Хочу посадить кукурузу, – ответила я, тоже улыбаясь, но и хмурясь одновременно, так как привыкла ждать от людей какого-то подвоха, когда они начинают разговор вот так вот – за здравие...

– Ваша семья, наверное, нуждается?

– Нет, я просто так... Просто так хочется. Мне просто интересно, когда все это тут...

Вот.

Окончательно запутавшись, я взглянула исподлобья на стоявшую изваянием женщину с тохой в руках, повернулась к ней боком и принялась обкладывать свой участок камнями. Назавтра я собиралась явиться с выструганными из веток колышками и проволокой и поставить настоящую ограду.

Боковым зрением я видела, как, вся сияющая, она подняла с земли крепкую палку и, прихрамывая, направилась ко мне. Она с легкостью перешагнула бы через мои камни, но не

стала этого делать – почтительно остановилась, будто перед настоящим забором, и, приосанившись, весело протянула мне тоху:

– Держи, дорогая! Это подарок. Эта штука тебе еще пригодится, раз уж ты решилась на такое хорошее дело.

– Ой, спасибо... Не нужно...

– Нужно-нужно!.. Возьми, пожалуйста. А скажи, у тебя есть дедушка с бабушкой? Это, наверное, они тебя надоумили?

– Бабушка и дедушка есть. Но не здесь... Нет, я сама.

– Ну, совсем хорошо. Я тридцать лет проработала в школе и не помню ни одного случая, чтобы кто-то из наших учеников захотел того, чего хочешь ты.

Она еще долго вспоминала что-то, оживленно рассказывала разные милые пустяки из своей профессиональной жизни, а я, напряженно улыбаясь и по-прежнему стоя к ней боком, вспахивала грядки. Вспахивала и думала про себя с колотящимся сердцем: «Только бы не узнала... И только бы не спросила, почему я не в школе...» Ведь это была та самая бабуля... то есть совсем не бабуля... с которой я уже пересеклась однажды. В прошлом году, когда я залезла на абрикосовое дерево в саду за одним из домов, она метала в меня как раз ту самую палку, на которую теперь опиралась, – опиралась больше для виду, периодически размахивая ею, будто палка была продолжением руки.

На следующий день она принесла мне семена кукурузы, и я засеяла под ее руководством поле, которое собственноручно выполола и вспахала.

Через несколько дней, переделав все свои дела на участке, соседка пропала. А я продолжала каждое утро приходить сюда вместо школы.

Положив на грядки портфель, я доставала из него книгу – кажется, это был Жюль Верн, – а потом, сев на портфель, погружалась в чтение. Место было глухое, и я не опасалась, что сюда забредет кто-то из взрослых. Старшеклассники и мои сверстники были в школе, а те дети, которые учились во вторую смену, как мы до прошлого лета, были младше, и я сумела бы отогнать их.

В кармане фартука лежали старые отцовские часы. Когда стрелки приближались ко времени окончания уроков, я, выждав еще минут десять, вкладывала, как в ножны, Жюль Верна обратно в портфель, отряхивалась и неспешно шла домой.

Но в один из дней на углу между домом и бассейном я напоролась на так же неспешно идущую с блуждающей улыбкой Лали Киасашвили.

– Привет, – покраснев, выдавила я.

– Привет, – весело ответила Лали, нимало не смутившись и даже, кажется, чему-то обрадовавшись. – Дай мне, пожалуйста, руку.

Опершись на мою руку, она перешагнула через канаву с дождевой водой, где среди прошлогодних листьев, щепок и мусора прикорнул, лежа на боку, бумажный кораблик.

– А у нас скоро будет сбор металлолома. И последняя контрольная по математике, от которой будет зависеть итоговая оценка.

Скороговоркой сообщив новости, Лали погрузила свой пристально-расплывчатый взгляд мне в лицо. Пришлось выдержать его, несмотря на желание отодвинуться, как от лампы, на которую в такие моменты делалось похожим ее лицо.

– А еще в классе говорят, будто ты стреляешь из рогатки птиц. Но я в это не верю.

– Ну и правильно... что не веришь, – выдавила я растерянно, опять покраснев.

– Аппатима говорит. Еще она говорит, что зря тебя от физкультуры освободили, что ты здоровая как лошадь, а врешь, потому что над тобой нету старших. А еще...

– Ладно, Лали, спасибо. Ты извини, меня дома ждут.

– Ладно, Маша. Передавай привет маме.

Лампа отплыла в сторону от моего лица, и я тоже куда-то поплыла, двигаясь как на ощупь.

Перед тем как войти в подъезд, я оглянулась и увидела по-прежнему смотревшую на меня, только теперь уже вслед, так и не сдвинувшуюся с места Лали. Но теперь ее взгляд был задумчивый, в нем чувствовались недоумение и даже некая укоризна в сочетании с виноватостью.

Виноватость в ее взгляде кольнула меня. Достала, что говорится. Я сердито представила, что возвожу между нами стену из аккуратных красных кирпичей. Мы стоим одни в лесу, но Лали не видит леса, потому что смотрит только на то, как растет стена. Я огибаю стену, незаметно появляюсь у Лали за спиной и закрываю ей глаза... Вздрогнув, она оглядывается и вдруг, когда я убираю руки, замечает лес.

Странная фантазия... Промелькнула и забылась.

Но на следующий день я пришла в школу.

И меня там все встретили как ни в чем не бывало. Даже Марина Арутюновна не задала ни одного вопроса, не потребовала справки за пропуски, не вызвала к доске.

Спустя еще день я сама вызвалась к доске.

Был урок природоведения, и я, выучив параграф наизусть, с чувством пересказала его, ничего не пропустив, громким, выразительным, глуховатым голосом.

Просто параграф из учебника, но – в моем исполнении. И я неожиданно покорила внимание класса, словно читала стихотворение.

Но вот все было рассказано, и мой энтузиазм иссяк. Смутившись, я погрузилась в свою привычную молчаливость, а лица у всех оставались еще какое-то время прояснившимися, словно окутанными легкой думкой. И даже не смотревшая в мою сторону Аппатима была как сама не своя.

Но больше всего «самой не своей» оказалась учительница. Она с видимым удовольствием вывела напротив моей фамилии в журнале большую четкую пятерку и с не меньшим удовольствием поставила бы мне ее и в дневник, но дневника у меня не водилось.

Так с того дня и повелось: я учила наизусть параграфы по природоведению (до остальных предметов у меня как-то не доходили еще руки), а потом получала за артистический пересказ пятерки, что нравилось и мне, и классу.

Но потом звенел звонок на перемену, и класс забывал обо мне, а я забывала о классе.

## 6

Наступил день сбора металлолома.

Пионерские классы освободили от уроков и послали группами по несколько человек в разные концы района с заданием подбирать все валяющиеся в округе железки – от дырявых кастрюль и труб до изношенных газовых плит и частей разбитых автомобилей. Всего этого добра на улицах было в избытке, а в одной из выемок оврага жители устроили свалочную яму – так там и вовсе был Клондайк.

Оставшись без надзора, кое-кто разбежался по домам еще в начале дня. Другие работали с лентой, тащили что полегче, и каждый был сам по себе. А третьи – их было меньше всего – пахали дружно и весело, за себя и за того парня.

Эти последние были из сплоченных классов, из тех, кто не упускает любую возможность побыть вместе, заняться общим делом, все равно каким. Работали они легко и с фантазией. Ребята из одного такого класса, на год старше нас, извлекли со дна оврага сваленный кем-то проржавевший остов «Победы», автомобиля, давно канувшего в Лету, и теперь с грохотом тащили его под непрекращающуюся болтовню и взрывы хохота по проезжей части дороги.

Отстав от своей группы, – наш класс, рассыпавшийся при первой же возможности, послали убирать лом в районе недостроенного бассейна, – я уныло брела поодаль, завидуя этому единству. Скрежет и стук железа, смешиваясь со звонким детским гомоном, наполнял округу, подобно силе и аромату недавно распустившихся почек. И от этого грустное чувство отделенности от всех, стало острым, как никогда.

Но в то же время изнутри, словно толкнувшись в незримо приоткрывшуюся щель, распускались потихонечку клейкими листиками другие чувства – оторвались от грусти, как голуби, и, курлыча, обзревала с высоты весь этот бурлящий, шумящий простор с разливающимися колокольчиками звонким детским смехом.

Все вокруг струилось, смешиваясь с белым пухом, то ли падающим с небес, то ли поднимающимся в воздух с земли. И телу до дрожи захотелось в это дивное струение.

И руки ринулись в работу!

...Когда в конце недели на общешкольной пионерской линейке объявили, что наш класс занял почетное третье место, никто из моих одноклассников, кричавших до одури «Ура!», даже и не подумал о том, что третья по величине куча лома, в которой были газовые плиты, мотор и автомобильная дверца, куча, над которой вился флажок с надписью «3 А», была собрана почти исключительно мной. Каждый день после уроков я добавляла в нее что-нибудь новое, незаметно пробираясь в школьный двор через дыру в сетке ограды.

Правда, иногда я перекладывала по мелочам в нашу кучу и кое-что из соседних куч, хоть это и не приносило удовольствия. Так поступали все, и я на первых порах в отстающих не значилась.

## 7

Ну а потом – тогда же, в конце третьего класса, – наступил самый великий день в моей жизни: мне надоело быть плохой.

Я лениво гоняла у себя во дворе футбольный мяч. А потом пнула консервную банку.

Банку обнюхала незнакомая собака, и я пнула собаку.

К собаке же подбрел, чтобы утешить ее, какой-то малыш, специально вылезший для этого из песочницы, и я, воспользовавшись моментом, разрушила все его песочные домики.

Было все как всегда.

Но малыш заплакал.

Не кинул в меня пригоршню песка, как это делали другие, не бросился жаловаться маме и даже не назвал меня дурой.

Вернувшись к своим разрушенным домикам из желтого песка, он просто присел на край бордюра и, тяжело вздохнув, как старичок, о чем-то грустно и глубоко призадумался. И заплакал.

И я вдруг растерянно выронила из себя – себя...

Да-да, это звучит странно, но до сей минуты я была как не в себе. Меня не было с собой!

Был кто-то, кто шел со всеми вместе или врозь, – шел по привычке.

Был кто-то, кто одевался, завтракал, ходил, говорил, играл, смеялся, шалил, а я, пригорюнившись, как тот малыш, грустным воробышком внутри этого кого-то, роняла беззвучные слезы.

Когда этот кто-то замечал ребенка внутри меня, он терялся, и все смешивалось в Датском королевстве.

Так, например, за полгода до этого мы играли на площадке со смуглой черноглазой Алиной, дочкой домоуправа дяди Саши, и я, поглядев на легкий, подобно тополиному, темный пух на ее оголенных руках, сравнила ее со Снежным человеком, о котором писали и судачили повсюду. Алина, неожиданно расплакавшись, бросилась в подъезд. Кинувшись

за ней, я бесполезно кричала ей вслед – что было только хуже, конечно, – что не имела ввиду ничего плохого, что я, напротив, уважаю Снежного человека, каким бы он ни был... В общем, тогда я тоже ощутила встречу этих двух существ внутри – внутри меня и внутри Алины, – когда они на миг пересеклись полными слез глазами и незримо соединились в нежном объятии, пока наши тела и умы, растерявшись, смешавшись, творили совершенно обратное.

Этот ребенок внутри заявлял о себе и раньше – в редкие минуты задумчивости без мыслей, когда в бурливом моем поведении словно образовывалась щель и кто-то, глотая слезы, проглядывал изнутри наружу. Но внешняя жизнь набегала снова, и ее волны смывали из памяти то, о чем я и подумать не успевала...

Глядя на присевшего на край песочницы мальчика, который смотрел невидящим взором куда-то мимо своего разрушенного песочного царства, я внезапно вспомнила крыльцо моих бабушки и дедушки, живших в Запорожье, куда мы с мамой ездили почти каждое лето. И белый плетеный стульчик на этом крыльце. И себя на этом стульчике, тихо глядящую в небо, куда поднимался, струясь в воздухе, с которым был одним целым, на одной ноте жужжащий жук с глянцевою спинкой, а на спинке этой отражалось белое, полное живительной влаги солнце, имевшее одновременно и качества луны.

Жук плавно огибал ветви растущей на его пути высокой старой яблони с золотисто-белыми яблочками, которые называли в доме *пепенками*.

Тихо летела вместе с ним с земли, оторвавшись, как бабочка от цветка, моя душа...

Привстав со стульчика, вдохновенно летела я – всем телом, словно была струями сгущенного солнечно-лунного воздуха.

Но вот на крыльцо вышел дедушка, постоял, спросил что-то не значащее, иронично-снихождительное, но и ласковое вместе с тем и, не дождавшись ответа, отправился в сад.

Сбросив – вместе с оцепенением – себя другую, как так и не добравшегося до неба жука, я бросилась за ним вдогонку.

Был и еще один день – он остался в моей памяти, как петушиный апокалипсис.

Я играла в саду в генерала, представляя головки садовых маков и еще каких-то цветов своими солдатами. Прохаживаясь по вымощенной булыжником дорожке и потрясая деревянным мечом, я выкрикивала вместо команд разный вздор, над которым сама же неудержимо хохотала.

Желая отвлечь меня от столь бестолковой, но живо исполняемой мною в лицах игры, дедушка спросил, не хочу ли я поглядеть на петуха.

Петух жил вместе с курами за виноградным плетнем с калиткой, которая всегда была на замке, – в той части сада, куда меня не пускали, опасаясь, что на меня обрушится балка или стена заброшенного дома, когда я в него залезу, несмотря на запрет. В этом доме с глинобитными стенами моя мама с сестрами и братом провели первую часть детства, пока дедушка не построил второй – их теперешний, – просторный кирпичный дом.

Ну как я могла не хотеть?

Бросив войско, генерал вбежал через открытую калитку в запретные владения и сразу увидел стоящего – тоже генералом, в парадном белом мундире, – на черной от дождей и старости доске петуха. Точнее, уже не стоящего, а летящего со всех ног мне навстречу с грозно растопыренными крыльями и вытянутой головой с землисто-желтым клювом.

И пришлый генерал обратился в бегство.

Но хозяин этой части двора – белый генерал – догнал его и, вспрыгнув на спину, предельно вцепился в нее когтями, да еще постучал по ней, прежде чем спрыгнуть и сердито удалиться, крепким, как железо, клювом.

Вдали он сердито прокукарекал.

Вторя ему, всполошились, беспокойно закудахтали куры.

А я, вбежав в дом, немедленно рассказала все в лицах, захлебываясь от восторга и возмущения, бабушке, и та, обычно не обращавшая на мои забавы внимания, с упреком сказала дедушке – она его всегда в чем-то упрекала: «Ну вот, видишь, до чего дело уже дошло. Говорила я тебе: пора менять петуха. И стар уже, и характер у него испорченный».

Дедушка же, лукаво всмотревшись мне в лицо, только подмигнул.

И в тот же день дело было сделано.

Пока дядя учил меня у главной калитки метать в забор ножи, дедушка, взяв топор, исчез в старой части сада.

Вдруг залаял, выскочив из будки, наш пес Пират.

Рванувшись раз-другой на цепи, он протяжно завыл.

Одновременно метнулся к себе через забор соседский кот, затрещали сороки в кроне яблони, взметнулись и рассыпались в разные стороны, как осколки, голуби, подбиравшие до того под крыльцом крошки.

– Батюшки!.. Неужели апокалипсис? – удивленно произнесла вышедшая из дому бабушка.

Тут подошел дедушка и молча передал ей прямо в руки тушку обезглавленного петуха.

...А вечером вся семья собралась за столом перед казаном с тушеной курятиной и сковородой с нравящейся мне жареной кровью. Все были оживлены и словоохотливы.

– Кушай, Маша, кушай, – сказал дедушка со своей ироничной ласковостью, положил мне на тарелку гребешок и придвинул вместе с вилкой большую деревянную ложку с нарисованным петушком, которую я считала своей и просила, чтобы ее всегда клали на стол рядом со мной.

Привыкшая ловить в любой ласковости подвох, то улыбаясь, то хмурясь, я, отодвинув тарелку, залезла под стол и принялась втихаря стягивать с ничего не чувствующих родственников тапочки, а после незаметно выбросила их за окно.

Когда же кто-то хватился своей обуви и сказал в сердцах: «Ах!..», все смешно закудахтали, как куры, а я сиганула от греха подальше в окно, услышав напоследок взвинченный голос матери: «Сами вы ужасные!»

И еще одно воспоминание.

Опять наш дом в Запорожье. Мы играем с приехавшей наведни моей двоюродной сестрой в большую и маленькую обезьяну.

Культурная девочка с большим пышным бантом в прямых белых волосах до пояса, очень стройная, с тонкими чертами не по-детски серьезного лица, дочь учительницы, весь вечер она с молчаливым укором-удивлением смотрела круглыми голубыми глазами-бусинами на все эти излишества из моего обычного репертуара. Благоразумно отойдя на другой край дивана – мы только что прыгали на нем, – сестра спросила:

– А ты какой хочешь быть обезьяной – маленькой или большой?

– Конечно же большой! – кричу я, скорчив свирепую рожицу, и, подбежав, толкаю ее с разбега в грудь, и она летит кубарем на пол.

Я же снова выскакиваю с хохотом в окно, не желая слышать кудахтанья.

Так какая мне больше нравится обезьяна – большая или маленькая, большая или маленькая, большая или маленькая?!

Господи, мне больше не нравятся обезьяны! Я хочу быть человеком!

Вот только... эээ... как мне быть с этим пригорюнившимся на бордюре песочницы малышом, как дать ему понять, что я уже наполовину человек? Ведь я такая неумелая!..

Спокойный, как Штирлиц, милый Мурзик тихо подбрел своей величавой походкой и лег, довольный, у моей ноги, положив на лапы морду с поглядывающими на все про все с бережным вниманием необычайно глубокими глазами темно-янтарного цвета.

В то лето, вернувшись из Запорожья, я обнаружила на засеянном мною поле в овраге выросшую мне по пояс кукурузу, стоящую среди бурьяна.

Кукуруза без меня засохла – лето выдалось засушливым.

Но я все равно ликовала в душе, радуясь своему первому, все-таки неожиданно-негаданно взошедшему урожаю.

## Часть вторая

### 1

Итак, я была плохой. А мир вокруг, в общем-то, хорошим.

Теперь же я как-то вдруг, в одночасье, стала хорошей.

А мир – почему-то плохим.

Это плохое, желая видеть в мире одно только совершенство, я обнаруживала буквально во всем.

И тем сильнее – буквально до кома в горле – радовали меня день ото дня проблески прекрасного или просто хорошего.

Про хорошее я постараюсь рассказать побольше...

Я уже не была прежней, кровно соединенной с происходящим вокруг тысячами невидимых нитей, по которым, как кровь по кровеносным сосудам, циркулировали, молниеносно сменяя друг друга, привычно кружащиеся по одному и тому же общему руслу мысли, чувства, настроения.

Внутри я все больше превращалась в силящегося разгадать какую-то загадку ребенка, который, привалившись плечом к стене с облупленной штукатуркой, глядел куда-то вперед, поверх голов, поверх бурлившей повсюду жизни и отслеживал при этом перемены в ней открывшимся периферийным зрением.

Но это был не тот чудесный ребенок с невыразимо прекрасными чертами, который с болью и слезами взирал на точно такие же боль и слезы и мог жить только в самом чистом, потаенном, скрытом даже от меня уголке моего сердца. Тот ребенок выплывал из золотисто-зеленоватой дымки лишь на миг.

Тот ребенок, в которого превратилась я, был ребенок вспоминающий. Силящийся вспомнить своего растаявшего в дымке друга и брата, собирающий для этого, как в один кулак, всю силу бедной мысли.

Наружно это привнесло в мое лицо отпечаток страдания и рассеянности, а в походку и движения – еще большую скованность и напряженность. Что сочеталось с почти полным пренебрежением к одежде и деньгам, желанию блеснуть чем-то внешним, прославиться чем-то незаслуженным, приврать, прихвастнуть. И это при том, что большинство людей вокруг, к моему великому сожалению, проявляло повышенный интерес как раз к вещам такого рода, несмотря на то что на страницах книг и газет, на экране телевизора и даже на плакатах и стендах в учреждениях и на улицах настойчиво культивировалось нечто противоположное.

Моему вопрошающему, сбитому с толку уму и щемящему, только что проклюнувшемуся в груди новому сердцу необходима была религия.

И я создала ее из сподручных средств, повенчав свой природный анархизм с марксизмом.

Первый давал простор, а второй – ориентиры в этом просторе.

Это было как чистое поле, где я творила собственную душу перед алтарем мыслей, чувств и отношений, которые как бы опаляли ее высоким огнем. И если что-то во мне или вовне меня противилось этому огню, то это становилось для меня источником нешуточных разочарований как в себе, так и в людях.

«Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» – трудно поверить, что меня, четвероклассницу (по нынешним меркам – пятиклассницу, если прибавить нулевой класс), в то время как

другие мои сверстницы уже поглядывали на мальчиков и судачили о любви, эти затертые до казенщины ленинские слова приводили буквально в священный трепет.

Но при всем том, при всей своей внешней напускной серьезности среди *недрузей*, я не только не переставала быть в душе ребенком, а, напротив, все больше становилась им, заново обретая вкус и доверчивость ко всему естественному – светлому, тонкому, глубокому, неприятзательному, сложному и в то же время простому, ясному, хотя вместе с тем и таинственному, струящемуся неприметным светом.

«Главное, ребята, сердцем не стареть» – это была вторая по силе воздействия на мои фибры расхожая цитата из фразеологического арсенала видимого и невидимого идеологического фронта под командованием нашего доблестного Политбюро во главе с ассоциирующимся у меня с Кутузовым мудрым, неторопливым дедушкой Брежневым. Эта строчка из песни высекала у меня чуть ли не искры из глаз, и, когда я слышала ее, на глаза, вопреки бодрому мотиву, навертывались слезы, как и у самого дедушки Брежнева, когда он украдкой смахивал слезу на Парадах Победы. Я чувствовала в такие мгновения: где-то в глубине сердца у меня кремень, который всегда будет высекать искры, соприкасаясь с прекрасным, и это называется бессмертием.

Как я любила все эти парады и демонстрации, все эти выставки достижений народного хозяйства, все эти съезды, пионерские сборы, комсомольские собрания и даже растянутые речи дедушки Брежнева! То, чего я не имела возможности видеть и слышать вживую, я завороченно поглощала с экрана телевизора, поглощала с необычайным вниманием, будучи погруженной во все тот же священный трепет, а на самом деле – в свою собственную вибрирующую, переливающуюся всеми цветами радуги, плещущую внутри ласковым теплым морем, верящую в безусловное добро душу.

Слова доброго пастыря – вождя и учителя, старшего друга всех детей, которых он радушно целовал в щеку, когда те подносили ему цветы, человека, отвоевавшего для них у демонов-фашистов Малую землю, грудь которого к тому же была четырежды отмечена Звездой Героя Советского Союза, – были тем елейным маслом, которое таинственно растворяло все грехи и сомнения. Смысл их был важен меньше и всегда отходил на второй план.

А сколько я читала книг о революции и войне! О Гражданской войне – и Великой Отечественной!..

Как вдохновлялась стройками коммунизма и целиной, мечтая отправиться работать на БАМ после того, как закончу школу!..

Эти мечты и цели полностью смели мои прежние интересы к природе и природоведению. Век географии сменился в моем личном календаре веком истории.

В фильмах, как и в книгах, я искала настоящих героев, с которых можно было, как в стихах Маяковского, делать жизнь. Правда, Маяковский предлагал делать ее с товарища Ленина. Но Ленин был для меня такой святыней, где-то там, высоко в небесах, против живущего на земле, своего в доску дедушки Брежнева, что о нем как о реальном человеке я до поры до времени и не помышляла.

В дошкольном возрасте я как-то спросила у мамы: «Мама, а почему, если Ленин самый лучший в мире человек, все выходят замуж не за него, а за других? Наверное, потому, что он уже умер?»

Не знаю, что ответила мне на это моя ироничная, не ведающая шаблонов, своевольная мама, но идея выйти замуж только за самого лучшего человека, которого, быть может, в мире уже и нет, отправилась в подсознание и явно руководила мною оттуда, ведя потом по судьбе.

Идея эта строила под себя и многие другие, столь же глобальные и не очень, мысли и идеи, а уж идей у меня, как своеобразно понятых ответов на свои же собственные вопросы, была полна коробушка!

Однако книги и фильмы о революции, войне и строителях коммунизма все-таки были полны героями – образцами хороших людей на любой вкус и выбор.

Я легко выделяла главное в них – необычайное благородство, из которого следовало и все остальное: любовь к людям и Родине, преданность идеалам Революции, справедливость, целеустремленность, милосердие, великодушие к поверженным врагам, горячее желание защищать слабых и сострадание к чужой боли, мягкость, деликатность, душевность, поэтичность... И все это – обязательно! – в сочетании с личной скромностью, без которой все эти качества обращались в ничто, становясь пустыми и показушными.

Но в одном человеке все же трудно было совместить столько силы и тонкости, и я выделяла – точнее, что-то во мне выделяло, жадно ловя невидимо распространяемые этими художественными персонажами искры, – два типа героев.

Один из них глубоко-серьезен и несколько строг, отстранен... Другой же вечно оживлен и весел, и тоже приподнят над обыденностью, но по-другому.

Первый был как Павел Корчагин, но более образован, более погружен в дела мира, а не войны; он много размышлял, и к нему любили приходить за советом.

А второй был как неунывающий герой одного старого фильма в исполнении Бориса Чиркова, который все напевал, сталкиваясь с жизненными трудностями:

*Крутится-вертится шар голубой,  
Крутится-вертится над головой!  
Крутится-вертится, хочет упасть,  
Кавалер барышню хочет украсть.*

Все это: оба героя в их неисчислимых вариациях, их серьезные и веселые деяния – непременно благородные, пронизанные духом скромности и простоты, – были для меня источником неподдельной радости.

Но радость эту длинной черной тенью сопровождала грусть: моя страна не разделяла моей религии.

Точнее сказать, моя страна не разделяла *своей* религии.

В нее верил дедушка Брежнев, верило его Политбюро, верил пламенный оратор Эдуард Шеварднадзе, Первый секретарь Компартии Грузии, вместе с другими ее руководителями, а вот мои родители, соседи и некоторые – если не все! – учителя в школе не верили.

Большинство людей, с которыми я пересекалась дома, в школе и на улице, были абсолютно безрелигиозны.

Книжные полки их квартир украшали тома, на страницах которых жили прекрасные герои-коммунисты, и не они одни, а также их многочисленные предшественники из лучших людей человечества, такие как Сократ, Марк Аврелий, Коперник, Джордано Бруно, Мартин Лютер, Радищев, Чернышевский, Достоевский, Сервантес... На их земле родился, вырос и нашел свое последнее пристанище в Мавзолее Самый Лучший В Мире Человек. Там же, у красной Кремлевской стены, спали вечным сном Серго Орджоникидзе и Максим Горький, Семен Буденный и – быть может, всех их святых и прекрасней, но и всех несчастней, – Неизвестный солдат. А эти, да простит меня моя совесть, скучные – потому как *скучающие* – люди остались такими же, как были. Из века в век они протягивали равнодушной рукой яд Сократу, а потом, спустя годы, бездумно носили его на руках, повторяя, как попугаи: «Платон мне друг, но истина дороже», казнив с подозрительной легкостью и быстротой расправившихся с ним клеветников.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.